К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ, ЖУРНАЛИСТА, АКТЕРА КОЧЕТКОВА ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА

Москва
2025

Препринт
***Составитель*: *Лейла Петровна Печко*, доктор философских наук, профессор.**

Работа находится в стадии разработки материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Биография



31 декабря 1923 года в сибирском городе Ачинске в семье редактора районной газеты родился сын. Это чудо- в канун Нового, 1924 года!

Поэтому счастливые родители назвали его – Гений, так и записано в документах. Но по жизни ему стало близким имя Геннадий (означающее –Благородный), это имя декабрьского же святого, широко приемлемое в Сибири. После лет учения, полных любви к природе, искусству, русской литературе, интереса к театру, на юношу, как и на всю страну, обрушилась война.

Он стал солдатом, разведчиком, но в 1943 году был тяжело ранен. Его боевые награды- медали, орден Отечественной войны 3 степени. Проходили многие месяцы в госпиталях, здоровье постепенно восстанавливалось, оживала раненая память.

Для души спасением стали искусство, творчество в цирке и новосибирском театре «Красный Факел». Росли успехи актера комедийного амплуа. Годы творчества, много впечатляющих поездок по стране, увлечение журналистикой привели к литературным достижениям, созданию и публикации книг.



Его дети продолжили по-своему эти многообразные интересы-сын Андрей стал актером и режиссером, дочь Елена- проявила способности в фехтовании, трудилась школьным учителем физкультуры.

Геннадий Кочетков как автор и редактор работал в журнале «Октябрь», газетах «Литература и жизнь», «Советская культура» и других. Были написаны и опубликованы шесть книг его прозы, он принят в Московскую организацию Союза писателей. В последнее десятилетие двадцатого века им написаны и подготовлены к изданию два сборника прозы (1995 и 2001 гг). «Этюды раненой памяти» и рассказы о современности «Такая жизнь». Здоровье участника войны все же подорвано, что отражается и в творчестве. Это последние созданные и опубликованные самим автором произведения прозы.

Встреча в 80-м году с Лейлой Петровной Печко – филологом, педагогом, ученым выявила их духовную общность, родственность эстетических и художественных вкусов, увлеченность творчеством. Их союз выдержал

испытание временем – четверть века в очень сложные годы их творчество продолжалось



19 мая 2006 года жизнь и творчество Геннадия Петровича Кочеткова прервали болезни сердца и осложнения после перенесенного гриппа.

Он похоронен в Москве на Донском кладбище.

В 2014 году в издательстве «Слово» опубликована книга прозы Геннадия Кочеткова с «блоковским» названием «И вечный бой…».В ней помещены не печатавшаяся ранее повесть «Театральные баталии» и 2-е издание военных « Этюдов раненой памяти». Составитель и ответственный редактор книги- Печко Лейла Петровна.

Страницы книги нашли отклики не только читателей, но и литературно-художественных критиков, писателей.

Еще до конца минувшего столетия на произведения Кочеткова обратили внимание И.Л. Вишневская, прозаик В.А. Пьецух и другие авторы. И книгу Геннадия Кочеткова, изданную в 2014 году, приветствовал в своих статьях в «Литературной России», в «Дне литературы» современный яркий писатель, критик, Лауреат номинации «Золотое перо Московии» Александр Трапезников.

Все это подвело к проекту и вошло в содержание сайта посвященного Геннадию Кочеткову в связи с «юбилейными датами» его жизни и творчества. Дополненный вариант сайта теперь будет содержать отклики на творчество и его фотографии, а также включит фото авторов этих текстов-людей различных профессий: от писателя, от переводчика до организатора конных праздников на ВДНХ. В сайте представлена часть рассказов Кочеткова и перевод двух «этюдов раненой памяти» на английский язык Марии Шершаковой. Раздел «Панорама жизни разных десятилетий» включает отдельные рассказы и книгу прозы Геннадия Кочеткова. Они звучат сегодня особенно современно, как отмечается в этих отзывах.

Неоценимо велика роль участников этого проекта, и в особенности – самого важного момента -поддержки проекта в лице его куратора, кандидата педагогических наук, профессора РАЕ, Главного редактора международного альманаха «Гуманитарное пространство» Лазарева Максима Александровича.

Далее - ожидание новых откликов…

Автобиография

...Зима 42 года. В военном училище оледенелого Рубцовска недавних школьников намереваются «обратить» в лейтенантов через шесть месяцев. Но уже через три нас поднимают по тревоге, сажают в теплушки – и под Воронеж. Артиллерийским разведчиком-наблюдателем я прошел Белгород, Харьков, Полтаву. Под Кременчугом - тяжелое ранение и шесть месяцев госпиталей...

Окончив в Новосибирске театральную студию («Красный Факел»), я становлюсь актером драматических театров Сибири. Десять лет работаю в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Павлодаре.

Однажды, решив «отогреться», я поступаю в русский драмтеатр «солнечного Андижана». А его в разгар сезона расформировывают. Куда податься?..

Нежданная счастливая встреча с Теодором Гарди (с Федором Гардеевичем Ивановым), блистательным иллюзионистом, решает мою судьбу: он берет меня в ассистенты, обещая поставить мне собственную иллюзионную программу. И обещание свое выполняет.

Геннадий Брок - так прозывался я в афишах, обещая доверчивым зрителям 47 иллюзионных трюков и не очень-то их обманывал. Ашхабад, Фрунзе, Наманган, Коканд - в их цирковых филиалах, как, конечно же, и в самих аулах, побывал я со своими тяжелыми чемоданами фокусов.

Но родная Сибирь звала... Возвращаюсь. Поступаю в Павлодарский театр... и всех нас захлестывает целинная эпопея. Меня «захлестывает»там в редакцию «П авлодарской правды». Около тридцати лет проработал в газетах «Литература и жизнь», «Советская Россия», «Советская культура», в отделе прозы журнала «Октябрь». Вот такая жизненная кутерьма и вывела меня на тернистую «писательскую дорожку». Самые первые мои рассказы были напечатаны в журналах «Советский Казахстан» в 50-е годы.

Кочетков Г.П.

Опубликовано в сборнике
НА ПОРОГЕ ХХГ ВЕКА. Автобиобиблиографический ежегодник, М., 1998, т.1, с. 387.

КНИГИ

- Геннадия Петровича Кочеткова. Проза.
- Дорога через сердце. Роман. М.: «Сов. пис.», 1976.
- Антракта не будет. Повесть. М.: «Современник», 1979.
- Уходить и возвращаться. Повесть. М.: «Современник», 1979.
- Лесная музыка. Рассказы. М.: «Правда», 1983.
- Обрети себя. Повесть. М.: «Сов. пис.», 1985.
- Продается на слом. Повесть. М.: «Сов. пис.», 1990.
- Этюды раненой памяти. Рассказы. М.: «РБП», 1995.

- Такая жизнь. Рассказы и повесть. М.: «Сов. пис.», 2001.
- И вечный бой. Книга прозы. М.: «Слово», 2014.

Переводы

Из Этюдов раненой памяти. 50 лет Великой Победы. М.: РБП, 1995.

Капитан

Я не выполнил твой приказ, капитан…

Знаю – мне не грозит трибунал, хоть я и не выполнил твой приказ. Я же тяну шаг и еле передвигаю ноги. Но какая разница? Часом раньше или часом позже – мне все равно же стоять перед тобой, мой капитан, смотреть на тебя – какими глазами? – и – лепетать жалкие слова. Мне не хватит мужества прямо взглянуть на тебя и сказать, почему я не мог выполнить приказ.

Сколько мне еще осталось шагать? Километра три, пожалуй. Шагать… Я мог бы одолеть их на попутной, как и в тот конец. А пошел пешком и всё тяну и тяну шаг…

Быть может, капитан, было бы куда лучше идти сейчас по этому проселку вдвоем. Мы бы, конечно, молчали. Но, знаешь, молчать вдвоем, шагать – куда легче, чем одному… Поверь, это я испытываю сейчас сам. Невыносимо! И я не знаю, что мне делать, как поступить. Только бы не увидеть твоих глаз.

Эта дорога… Если бессмысленно долдонить, вбивать в голову одно какое-нибудь слово: дорога, дорога, дорога, то вроде бы и легче малость. Эта дорога, капитан, такая мирная деревенская дорога: ромашки, разлапистый подорожник…

Мирная, если только не замечать по обочинам изувеченные автомашины тупорылые, не нашей породы… И эти вздувшиеся трупы тупорылых же лошадей. Лошаков, или как там их звать: гибрид, созданный фрицами для войны. И сами они – гибриды, тупые и жестокие гибриды, выращенные, как и вон тот дохлый лошак – для бойни…

А вот и два дерева, капитан. Те самые. Хо-роший ориентир! Помнишь, мы здесь здорово оседлали дорогу: держали развилку под прицелом. Как только сунется немецкий «транспорт», подпустим к деревьям, «Батарея, пять снарядов беглым – огонь!». Хо-ро-шо! Ошметья летели!..

Если бы ты сейчас шел со мной вместе, капитан, то еще раз убедился бы, как мы здорово поработали. В стереотрубу всего не не увидишь… Воронка на воронке и целое кладбище техники. Вот тебе и мирная дорога! Я не выполнил приказ… А все разговоры о дороге – это просто так, заглушить боль, заговорить самого себя.

Побывал в деревне, в этой – Малой Роще… Что из того? Меня встретил интендант, наш старый знакомый, и я долго не мог понять, что выполнить приказ невозможно. Не мог понять!.. Вот и тяну шаг, вот и петляю, и куда легче, если бы до огневой дивизиона оставалось не три, а тридцать три километра…

Я тебе никогда не говорил, что восхищаюсь тобой, капитан. С каких пор? Быть может, с того дня… Такой тихий солнечный день. Я торчал на НП.

Кругом высоченная зеленая кукуруза, и мы с телефонистом пили белое сладкое молоко початков, совсем забыв, что впереди и с флангов – война, умолкнувшая, чтобы набраться новых сил… И вдруг к нам в окоп свалился ты – наш длинноногий щеголь-капитан. Я до сих пор не могу понять, как тебе всегда удается быть таким щеголем – бритым, в сияющих сапогах и с белоснежным подворотничком… Свалился в окоп, и мы уже втроем ели початки. И каждый из нас, наверное, вспоминал свой дом и огород своего детства.

А потом ты отшвырнул початок и бросился к стереотрубе. Я увидел, как дрогнули твои тонкие губы, и ты торопливо погнал стереотрубу слева направо – и обратно.

Как ты мог расслышать, почувствовать ли, капитан?! НП окружали… Я схватился за автомат и похолодел, вспомнив, что оставил на огневой подсумок с запасными дисками. Забыл, как мальчишка! У телефониста – карабин, у тебя - «игрушка ТТ»… И мой автомат с одним-разъединственным диском.

Не отбиться!

Ты мгновенно все понял, капитан. И твои серые глаза наполнились ожесточением. Ты не сказал мне ни единого слова, лишь перевел обжигающий взгляд с меня на связиста и выхватил у него трубку.

Я знал, капитан, что ты до войны преподавал арифметику, и я знал, какой ты отличнейший артиллерист.

Лучший в дивизионе. И убедился в этом еще раз. Ты мгновенно скорректировал огонь батареи по нашему НП.

Это ужасно, когда молотит по тебе батарея тяжелых гаубиц. Хоть они и свои… Ужасно. И когда снаряды стали почти накрывать наш НП, ты сшиб меня на дно окопа, и сам, упав, прикрыл меня.

Но как мне быть… Вот уже совсем рядом желтая балка, через какой-то километр дорога нырнет в нее, и я увижу орудия, укрывшиеся в глинистой осыпи оврага. Я подойду к тебе, капитан. Верну письмо… Нет, отдать письмо это сразу сказать тебе, капитан, все. Жестоко… И я буду мямлить, так же, как тяну сейчас шаг.

Помнишь сегодняшний утренний визит «фокке-вульфов». Они прошли над огневыми дивизиона, не заметив их, и весь бомбовой груз обрушили на деревню. На Малую Рощу… Твоя жена оперировала раненого. Все, кто был в операционной и в этом доме… Потому я и не передал письмо, не выполнил твой приказ.

Но как я скажу тебе об этом?..

1995

Captain

I have not executed your order, Captain…

I know I'm not in danger of being court-martialed, even though I haven't executed your order. I'm slowing down my pace and barely moving my legs. But does it really matter? – an hour earlier or an hour later, I will still have to stand in front of you, my Captain, and how can I look you straight in the eye? – and – babble pathetic words. I don't have the courage to look at you and tell you why I couldn't carry out your orders.

How long is it yet to walk? Perhaps, three kilometres. Walk… I could hitch a ride, just as I did when I was going there. But I am walking instead, I keep slackening and slackening my pace…

It could have been much better, Captain, to walk along this lane together with the you. Sure enough we would share no words. But, you know, keeping silence together, walking and keeping silence together is much easier than doing it alone… Believe me, I'm going through it right now. It's unbearable! And I don't know what to do, what on earth to do. I wish I didn't have to look into your eyes.

This road… When one drones, hammers some single word into one's head: road, road, road, then it seems to get a little easier. This road, Captain, is such a calm village road: daisies, sprawling plantains…

Calm but for those mutilated blunt-nosed cars on the roadsides, those not of our breed… And those bloated corpses of blunt-nosed horses. Hinnies, or whatever they call them: hybrids created by Fritzes for military purposes. And they themselves are hybrids, stupid and cruel hybrids, grown just like that dead hinny over there – for slaughter…

And here are the two trees, Captain. Those trees. What a landmark! Remember, we straddled the road pretty well here: we kept the fork of the road at gunpoint. As soon as the German «transport» came close, we would let it near the trees, and then «Battery, five rounds of rapid – fire!». Gooooood! Pieces were flying all around!..

Were you walking with me right now, Captain, you'd see once again how well we had done. One can't see all of it in a stereo tube… Funnel upon funnel – and a whole cemetery of equipment. A calm road indeed!

I haven't executed your order… And all this talk about the road is nothing, it's only meant to drown the pain, to distract myself.

I was there, in the village, in that Malaya Roshcha… So what? The quartermaster, an old acquaintance of ours, met me there and it took me a long time to realize that it was impossible to carry out the order. I couldn't grasp it!.. So I'm slowing down my pace, I'm looping, and it would be much easier if there were thirty-three kilometers to the firing division, not three…

I've never told you that I admire you, Captain. Since when? Maybe since that day… It was such a quiet sunny day. I was stuck on OP . There was tall green corn growing all around, and the telephone operator and I drank the sweet white milk from the corncobs completely forgetting that there was war ahead and on the flanks

about us and it had only fallen silent to gain new strength… Then suddenly you tumbled into our trench – our long-legged dandy Captain. I still can't see how you always manage to be such a dandy – well-shaved, wearing shiny boots and a snow-white collars… You tumbled into the trench, and now the three of us were eating corncobs. And each of us was probably recollecting his home and the garden of his childhood.

And then you threw your corncob aside and rushed to the stereo tube. I saw your thin lips twitch, and you hurriedly drove the stereo tube from the left to the right – and back again.

How could you hear it, or feel it, Captain?! Our OP was being surrounded… I grabbed the machine gun and went cold remembering that I had left the pouch with spare discs on the gun position. I overlooked it like a boy! The operator had a carabine, you had a “TT toy”… And my machine gun with the single disc.

No way to fight back!

You grasped everything instantly, Captain. And your gray eyes filled with bitterness. You didn't say a single word to me, just moved your burning gaze from me to the operator and snatched the telephone from him.

I knew, Captain, that you had been an Arithmetics teacher before the war started, and I knew what an excellent gunner you were. The best in the whole division. And I was convinced of it once again. You drew the battery fire straight away.

It's horrible when a battery of heavy howitzers is hammering at you. Even though they were our howitzers… Horrible. And as the shells began to almost cover our OP you knocked me down to the bottom of the trench and shielded me.

What am I to do… Now the yellow gully is so close, in a kilometer the road will dive into it, and I will see the guns hiding in the clay scree of the ravine. I'll come up to you, Captain. I will give you the letter… No, to give you the letter would mean telling you everything right away, Captain. It's cruel… I will mumble, just like I'm slowing down now.

You remember the Focke-Wulfs' visit this morning? They passed over the firing divisions without noticing them, and the entire bomb load was dropped on the village. On Malaya Roshcha… Your wife was operating on a wounded man. Everyone who was then in the operating room and in that house… This is why I didn't deliver your letter, I didn't execute your order.

But how am I to tell you that?..

(Перевод Шершаковой Марии)

Гаврош

Эй, парень, ты опять здесь?

Какие у тебя глазищи! Голодные и совсем уже взрослые. Где я тебя встречал? Представь, каждый раз, завидя тебя, задаю этот вопрос: «где?» Нет, не вчера и не сегодня. Давным-давно. Быть может – в детстве…

Ну конечно же! Теперь я вспомнил: я встречал тебя в книжке. Ты – Гаврош. Какие на тебе штаны, и эта лямка через плечо, и картуз без козырька… Ах, козырек все-таки цел! Прости. Ты просто носишь фуражку задом наперед, чтобы козырек не закрывал глаза. Верно? Им нужно все видеть, глазам, и все запомнить. Все!

Ты был очень смешон, карапет, когда бы не было так больно.

Что ты там бродишь у орудий? Если тебя увидит наш капитан… Хотя ты уже с ним знаком. Хороший у нас капитан, верно? Храбрец и красавец. Да подойди ближе, Гаврош! Что там интересного: гаубицы, обыкновенные гаубицы. Я уверен, ты знаешь в них толк. Но лучше все же – иди сюда. Я тебе почитаю стихи. Хочешь? Ты любишь стихи?.. Не подходишь и не хочешь стихов. Понимаю – какие там стихи на голодное брюхо! Я мог бы дать тебе сухарь. Золотистый, представляешь, как он хрустит?.. Целых десять сухарей. И котелок каши. Пшенной, гор-рячей… Наш дивизионный повар – бо-ольшой мастер на пшенку!

Да-а-а… Одно лишь расстройство, дорогой карапет. У меня нет даже и половинки сухаря! Ты и сам, наверное, знаешь. А что поделаешь? Ничего не поделаешь – приказ есть приказ. Велено капитану расположить дивизион под вашей деревушкой. Вот и стоим. Шестой день, табором…

Да, видно, забыли о нас интенданты или потеряли – не шлют провиант. Или бомба угодила в ту машину… Война, карапет, ты не хуже меня понимаешь – всякое бывает на войне. А тут, подумаешь, пустой живот. Медики говорят, что это даже полезно. Для профилактики.

Что, невесело? Да, брат, медицина, видно, ошиблась. И ты зря смотришь на кухню. Лишнее расстройство. Это верно – блестит от колес до трубы. Надраил ее повар. Демаскировка! А что ему еще делать, повару? Ни крупы, ни кочерыжки… Труба? Она, конечно, дымит. На то она и труба. Сам, поди, рисовал в школе: если дом – то непременно с трубой, а разве бывает труба без дыма. Но в котле – вода, голимый кипяток. Скоро артиллеристы чай пить будут. Третий день на одних чаях. Кто с корочкой, кто с морковкой: хруст-хруст… Это понимать надо: сплошь все гурманы! А что поделаешь? Погоди, карапет, у меня же был кусок, в полевой сумке…

– Гаврош! Эй, парень, иди сюда. Как звать-то?

– Гавриил.

– Да ну-у?! Слушай, а ты шоколад потребляешь? Такая жизнь, понимаешь, настала – ничего, окромя шоколада. Держи.

– Спасибо.

– Жуй, пища, что надо. Немецкий трофей…

Гавриил поспешно сплюнул коричневую слюну, взмахнул рваным рукавом рубашонки и запустил кусок шоколада в кусты.

– Пусть им фриц подавится!

– Погоди!..

Ай да Гавриил! Ушел – и не оглянулся. Выходит, я его оскорбил? Вот это гордец. Герой… А как у него заблестели глазенки, когда он схватил этот эрзац. Схватил… И черт меня дернул похвалиться трофеем!

Ладно, привезут же не сегодня завтра наш провиант. За все дни. Разложат его на плащ-палатках… О, там будет, знаешь, карапет, что там будет? М-м-м… Сухари, сахар, пшено, тушенка. Вот тогда попируем. Всей деревней!

Всей деревней… И где вы там живете? Как живете? Ни единой хаты. В погребах? Под русскими печками? Они торчат, как трубы погибшего флота… Лютует отступающий немец!

Однако, что же это делают наши кормильцы-интенданты?!

Что за гвалт? Ребятня… раз, два, три… Да сколько их? Десять, пятнадцать, больше… Ребятня атакует гаубичный дивизион! И впереди – Гавриил. Вот как, значит, это он их собрал. Зачем? И сухаря одного не найдется во всех солдатских мешках.

Но почему навстречу им бежит наш повар? Да еще с ведром. Не усидел я, бросился к кухне.

Не добежал: отнялись разом ноги, опустились руки. И, может, впервые за мой фронтовой путь мокрыми стали глаза – смотрю, а ни черта не вижу, нет – вижу, но не могу поверить, не могу согласиться… И хочется сграбастать в охапку всех этих карапетов – целовать их грязные, серые морденки, их голодные глаза – и реветь, и смеяться…

В заскорузлых крохотных ручонках – то морковка, то пара картофелин, обломок сахарной свеклы, пучок крапивы… Все это падает и падает в ведро, подставленное поваром. Картофелина, еще одна, глянцевитая, теплая, обласканная детскими ладошками… Откуда, из каких тайников принесли они такое богатство, голодные ребятишки? Нам принесли, карапеты, солдатам.

Отставить чаи, артиллеристы!..

Через час мы с Гавриилом орудовали ложками из одного котелка. Он великодушно простил меня. Отличное варево получилось, не знаю, право, как его назвать. Но главное – и густо, и горячо.

1995

Gavroche

Hey, chap, are you here again?

Your eyes are so huge! Hungry and adult as they are. Where have I met you? You know, every time I see you, I ask myself: «where?» No, not yesterday and not today. A long time ago. Perhaps – in my childhood…

Well, of course! Now I remember: I met you in a book. You're Gavroche. The pants you are wearing, and that shoulder strap, and the cap with no peak… Ah, the peak is there! Pardon. You are just wearing your cap backwards so that the peak doesn't cover your eyes. Right? They must see everything, those eyes, and remember everything. Everything!

You would be very funny, lad, hadn't it hurt that much.

What are you doing wandering around the guns? If our Captain sees you… Although he and you already know each other. We have a great Captain, don't we? A brave and handsome man. Come closer, Gavroche! Nothing interesting there: howitzers, ordinary howitzers. I'm sure you know a lot about them. But you'd better come here anyway. I'll read you some poetry. You want to listen? Do you like poetry?.. You don't come closer and you don't want any poetry. I see – what do I mean by poems, when you are so hungry! I would give you a rusk. A golden rusk, can you imagine the sound of it crunching?.. I would give you ten rusks. And a pot of porridge. Millet, steaming hoooooot… Our division's cook is a huuuuge millet master!

Yeah… It's such a disappointment, dearest lad. I don't even have half a rusk! You must know that. What can we do? There's nothing we can do – an order is an order. The Captain was ordered to locate the division beside your village. So here we are. It's the sixth day of our gypsy camping…

Yeah, the quartermasters seem to have forgotten about us or lost us – they send no provisions. Or the bomb might have hit that car… This is wartime, lad, you understand it as well as I do – anything might happen at war. An empty stomach is no big deal. Doctors even say it is healthy. Preventive.

Is it not funny? True, friend, doctors must have made a mistake. And you're staring at the field kitchen in vain. An unnecessary frustration. True – it's shiny all over, from wheels to pipe. Our cook polished it up. Unmasking! What else is he to do, the cook? No cereal, no stalk… The pipe? Smoking, of course. It is after all a pipe. You must have drawn it at school: if there's house it certainly has a chimney pipe, and what's a chimney without smoke? But there is only water in the boiler, bare hot water. The gunners are going to have their tea soon. Three days on nothing but tea. Some have it with a crust, some with a carrot: crunch-crunch… Don't you know, we are all gourmands here! What can we do? Wait, lad, I think I had a bit in my field bag…

– Gavroche! Hey, chap, come here. What's your name?

– Gavriil.

– Isn't it?! Listen, do you eat chocolate? Living like this, you know, we only have chocolate. Here you are.

– Thanks.

– Have a bite, it's fine. German booty.

Gavriil hastily spat out brown saliva, waved the torn sleeve of his shirt and threw the chocolate into the bushes.

– Let Fritz choke on it!

– Wait!..

Good for Gavriil! He left without looking back. Does this mean I insulted him? That's a proud man. A hero… And how his eyes sparkled when he grabbed this ersatz. Grabbed it… What had possessed me to show off the trophy!

All right, they'll bring our provisions this day or another. For all these days. They'll lay them out on groundsheets… Oh, there's going to be, do you know, lad, what's going to be there? Mmm… Breadcrumbs, sugar, millet, stew. We'll feast then. The whole village will!

The whole village… And where are you living there? How are you living? Not a single hut left. In cellars? Under Russian stoves? Those are sticking out like pipes of a lost fleet… The retreating Germans are furious!

And what is it our breadwinning quartermasters are doing?!

What's that uproar? The chaps… One, two, three… How many are they? Ten, fifteen, more… The chaps are attacking the howitzer division! With Gavriil in the lead. So it's him that gathered them together. Why? There is not a single rusk to be found in all the soldiers' sacks.

But why is our cook running to meet them? And a bucket in his hands. I couldn't resist, I rushed to the kitchen.

I didn't get there: my legs went numb at once, my arms dropped. And maybe for the first time in my frontline career, my eyes became wet – I look, but I can't see a damn thing, no, I can see, but I can't believe, I can't agree… And I want to grab all these lads in an armful – and kiss their dirty, gray muzzles, their hungry eyes – and cry and laugh…

In their gnarled tiny hands there are a carrot, and a couple of potatoes, a piece of sugar beet, a bunch of nettles… All this falls and falls into the bucket that the cook is holding out. A potato, and another one, glossy, warm, caressed by a child's hands… Where, what hiding places did they get this wealth from, these hungry children? The lads brought it to us, to us soldiers.

Set aside the tea, gunners!..

An hour later Gavriil and I were working with spoons in the same pot. He had graciously forgiven me. It turned out to be a great brew, though I really don't know what name to put on it. What really matters is it was both thick and hot.

(*Перевод Шершаковой Марии*)

Панорама жизни разных десятилетий

Из Библиотечки «Огонек», №49, М.: Издательство «Правда», 1983.

Колодка без мотора

Над всеми чувствами, которые испытывал Василий Николаевич при встрече с сыном, довлело ощущение неловкости: неловко было за клеенку на обеденном столе – потемневшую, в каких-то желтых подтеках, неловко за хлеб, нарезанный слишком крупными ломтями, за тарелки и вилки, свидетельствующие о том, что они давным-давно не знают женских хозяйственных рук. Неловко Василию Николаевичу было и за себя – словно бы это и не родной сын Федор застал его в затрапезном виде – небритого, в затасканной одежонке. И Василий Николаевич, всеми силами стараясь разбить, развеять неожиданное чувство неловкости перед сыном, излишне суетился, расставляя тарелки, накладывая в них из сковороды толстые ломти колбасы, пододвигая к Федору миски с помидорами, огурцами и темно-зеленые, уже перезревшие перья лука, только что принесенные им с огорода.

В этой напрасной суетливости все время ощущалось заискивание: оно проглядывало настолько явно, что опять-таки вызывало у Василия Николаевича дополнительную неловкость и досаду, но он никак не мог умерить, погасить свою суетливость, а значит, и обрести душевное равновесие.

Но у кого оно могло быть, душевное равновесие, окажись кто другой в положении Василия Николаевича?.. Мать увела Федора из этого дома, от отца, девятилетним, последний же раз заходил сюда сын, пожалуй, года два назад. Сейчас же заглянул перед уходом в армию… Вырос, и когда только вырос?!

Спохватившись, Василий Николаевич достал из буфета четвертинку и разлил поровну с Федором.

– Ну, давай, сынок! – и первым выпил противно-теплую водку. Торопливо закусывая помидором, Василий Николаевич снова подумал, но уже не бегло, а с тоской и горечью: «И когда только вырос».

И уже не чувство неловкости, а умиление все более овладевало Василием Николаевичем. Его умиляла медлительная степенность сына, то, как он не спеша брал с тарелки ломоть колбасы, яичницу, медленно и деловито, по-особому кривя рот, ел, то, как разрезав влажный, в капельках воды, огурец на половинки, старательно солил их и, сложив вместе, предвкушая удовольствие, тер дольку о дольку, а потом с аппетитным хрустом кусал огурец белыми зубами.

Василий Николаевич смотрел на широкие, но и слабые еще плечи сына, на худую высокую шею, на крупную круглую голову; скуластый, большеглазый, с еле намеченными бровями под широким лбом, сын кого-то ему напоминал.

Избыток чувств, их нервозная взвинченность мешали Василию Николаевичу угадать, на кого же так похож его Федор. А поняв наконец, что

смотрит на самого себя, семнадцатилетнего, торопливо провел ладонью по мокрым глазам и с радостным, все нарастающим чувством отцовства подумал: «А сын-то все ж таки мой, а не мамкин. В отца сын-то!»

С тайным сожалением взглянув на пустую четвертинку, но и ясно сознавая, что добавка будет неуместна – надо держаться достойно, не уронить себя в глазах дорогого гостя перед разлукой, Василий Николаевич встал из-за стола, прошелся по скрипучим половицам до старенького комода, украдкой взглянул в овальное зеркальце, в которое когда-то смотрелась его жена, Глаша, застегнул верхнюю пуговку мятого воротника чистой, но неглаженной рубахи и со стороны, цепко и как бы оценивающе посмотрел на сына.

– Уже и остригли? – спросил он Федора: надо же было о чем-то говорить, а это так трудно… Немногословным было их свидание перед разлукой, но и о чем действительно говорить-спрашивать, когда один из них уже возмужал, а другой состарился, и все это успело произойти неизвестно когда и без особой, казалось, нужды друг в друге.

– Сам сходил в парикмахерскую, чтоб аккуратнее, а то обкорнают на сборном, будто овцу…– Федор скупо усмехнулся, а Василий Николаевич успел отметить про себя, что эта особая кривизна губ – во время еды, при усмешке ли – от матери. «Наследство!» – тоже усмехнулся ответно.

– И куда же тебя определили… служить-то кем будешь?

– Вроде в саперах. Я, как ты – невезучий, – сказал Федор. И хоть намек на нескладную судьбу отца был сам по себе неприятен Василию Николаевичу, в ответе сына он услышал-выделил совсем другое, что тепло щекотнуло его сердце: «Я, как ты…»

– Выходит, метил куда, да не сбылось?

– А-а.. никуда я не метил. Служба, она служба и есть, хоть, как говорится, и почетная, но лямка. А ее тянуть надо…

– Так уж и все одно, какую тянуть? Ой ли?.. У меня в твои-то годы, сын… Я не о службе, о жизни – в ней что ты….

– Знаю твою лямку, – не дослушал его Федор. – Тянул, тянул, а все ж таки бросил. И что вытянул? Теперь-то в какую впрягся?

Этот второй и не без умысла едкий намек сына больно задел Василия Николаевича, и он, глядя на усмешку Федора, подумал с горечью, что материнское «наследство» не только в схожей кривизне губ, увы, не только.

– Да я уж не тяну – дотягиваю…

Он принудил себя погасить обиду, но вот вернуться из былого, о котором напомнил Федор, оказалось куда труднее. И какое- то время, удалясь, Василий Николаевич не слышал, что еще говорил ему сын.

…У Васьки Жворина, как вероятно, и у каждого, была своя страсть: любил он, взобравшись на плоскую крышу мазанки – дом еще только строился – лечь на спину и подолгу смотреть в небо. На белый далекий конвертик змея, на голубей, ныряющих в бездонную синь.

О чем он мечтал? Наверное, не мечтал, а думал о невозможности для него такого вот полета: был он слаб, рос трудно, тонкие ноги с великой

неохотой носили его хилую фигурку по двору, и совсем уже еле-еле, подгибаясь под тяжестью самодельного ранца, плелся он по тихой Тополиной улице в самый конец Болотной, в школу.

Однажды, быть может, впервые не дождавшись возвращения соседских голубей, он спустился во двор. Не зная, чем заняться, сел у верстака на мягкие, терпко и вязко пахнущие смолой стружки и принялся отбирать золотистые, словно поджаренные на солнцепеке, замысловатые завитки. Отбирал, цеплял стружка за стружку, плел янтарное, пахучее кружево, удивляясь тихо и радостно возникающему в его руках чуду.

Под стружками оказалась упавшая с верстака боковина наличника.

Положив на колени, Васька долго ласкал ладонью доску, обструганную до желтого глянца, гладил ее, а сам в задумчивой растерянности поглядывал на скинутое у ног кружево из стружек.

Вернувшийся с работы отец остановился в распахнутой калитке, помедлил, недоумевая, и, наливаясь гневом, молча принялся расстегивать ремень. Это что же такое стряслось с Васькой? Ради дури, да такое усердие… Дубасит молотком по долоту – увечит инструмент и совершенно готовый наличник. Тихоня глазастая!...

Не слышал Васька крадущихся шагов, не видел взметнувшийся над головой широкий отцовский ремень. Но и не почувствовал удара: рука с зажатой в ней пряжкой замерла, зависла и уже без напряжения коснулась затылка. Сдвинув шапку, медленно опустилась… Округлое долото, играя солнечными бликами, выписывало, подчиняясь ударам молотка, кружевную вязь. Переплетаясь, кольца возникали одно за другим, четко вырисовываясь на желто-смолевой боковине наличника…

Вся улица приходила любоваться нарядными окнами нового жворинского дома, окнами в кружевах.

А Васька, как и прежде, подолгу лежал на крыше мазанки и смотрел в небо. Что-то бродило в мальчишке неясное и доброе. Но вспыхнувшая в нем страсть художника, будто сухие стружки на огне, ярко и быстро сгорела.

Однажды совсем низко, ниже бумажного змея, над городом, над самой Тополиной улицей прошел самолет. И такой необыкновенный – ярко-красный, расписанный белыми зигзагами под орла – с хищным носом, грозными, готовыми к мертвой хватке когтями-обтекателями колес- и широко распахнутыми (перо к перу!) крыльями…

Этот удивительный орел – железный, с гортанно рокочущим мотором, опустился в степи, за городом, и Васька вместе с горланящей оравой ребят, опережая многих, помчался к месту его посадки. Он не чуял под собой ног, не ощущал усталости: всегда вялый и медлительный, Васька оказался не таким уж слабым, видимо, перед ним до сих пор не было еще такой яркой, реальной, властно зовущей его цели.

И вот красный орел, грозно, но и призывно пророкотав над головой, позвал к себе…

Самолет, сделавший вынужденную посадку, пилотировал американский

летчик Маттерн, совершавший кругосветный полет. Тот самый Маттерн, которого потом разыскал и спас Леваневский, тот самый Леваневский, которого искал, но так и не нашел Маттерн…

Васька видел пилота собственными глазами: американец, затянутый с головы до ног в черный хром летного костюма, проехал мимо него в рессорной коляске и даже – Васька мог поклясться! – и даже улыбнулся ему, блеснув золотыми зубами… Видел он, и как ремонтировали красный орлиный хвост – стабилизатор, пропоротый о какой-то кол при посадке: грубую фанерную лапку на лаковом теле птицы замазали рыжей масляной краской.

В тот день Васька увидел и понял, что коль можно самолет чинить, то, значит, можно его и делать. Вскоре двор и небо над ним превратились в полигон по испытанию летательных аппаратов.

Аппаратов самых невероятных, причудливых конструкций. Васька не имел никакого представления о бипланах, монопланах, слыхом не слыхал о подъемной силе, о значении элейронов, стабилизатора, киля.

Он не успел познакомиться с Леонардо да Винчи. Васька был просто первобытным человеком, жаждущим неба. А потому смотрел с удесятеренным вниманием на парящих голубей. Вот если бы смастерить такие же крылья!

И мастерил. Обломки его самолетов валялись на огородных грядках. Модели круто вздымались вверх, опрокидывались, слишком стремительно возвращаясь на землю… После каждой катастрофы бледные щеки Васьки накаливались румянцем, и в глазах долго не тускнел лихорадочный блеск.

И вот еще одна модель взяла старт с плоской крыши мазанки. Ни разу не качнув скошенными белоснежными крыльями, она, полого набирая высоту, быстро уходила от жворинского дома, Тополиной улицы. Уходила, ушла в бездонную голубизну неба и растворилась в ней.

«Генеральный конструктор», он же главный инженер и строитель быстрокрылой машины, ревел весь остаток столь знаменательного дня.

Нет, ему не было жаль улетевшей модели: он ревел от счастья.

Шли годы. Василий Жворин стал знаменитостью. И не только в тихом родном городке. На республиканских соревнованиях его легкие стремительные модели нередко сопровождались зеленокрылыми бипланами «По-2». И терялись в небе.

И он мечтал затеряться в нем, с великим нетерпением ожидая того часа, когда сможет своими руками оторвать крылатую машину от земли и увести ее ввысь. Но час этот, мечте о котором Василий посвятил жизнь, не настал: в его широкой груди билось слабое сердце. В армию Жворина не взяли из-за плоскостопия.

Школу помешали окончить выезды, соревнования, ночи и дни, растрачиваемые на создание и доводку новых моделей. Они летали все выше, все быстрее, все дальше. А Василий? Да, его уже нельзя было звать просто Васькой.

Все чаще – Василий Николаевич… ходил через весь город – от Тополиной к Дому юного техника, где вел авиамодельный кружок – большой,

неуклюжий, сутулый, с хрупкими моделями в длинных руках. Всегда только пешком. К многострадальным, битком набитым автобусам он боялся подступиться. Модели! Только они, хрупкие- какой оказалась и несбывшаяся мечта Василия Николаевича- их трепетные, прозрачные «крылья стрекоз», связывали его с небом: и, оставшись на земле, он все так же был ему верен.

Тяжело и сосредоточенно передвигая ноги, Василий Николаевич шагал по новым улицам, так изменившим город. Не менялись, казалось, только Василий Николаевич, его каждодневные маршруты, его слава. На толстых губах, как всегда, привычно и неугасаемо тлела застенчивая улыбка. Она была необходима ему, как, к примеру, необходима фуражка военнослужащему. Улыбаясь, он отвечал на улыбки встречных. А встречные – знакомые и незнакомые – улыбались непременно. Василий Николаевич не анализировал – как: дружелюбно или насмешливо. Он слишком был занят своими земными мыслями о небе.

…«Опять эта дылда с самолетиком…»

…«Интересно, сколько ему лет?»

Василий Николаевич все продолжал улыбаться. Но слух его сработал словно стоп-кран. Ноги как-то обмякли и отказывались сдвинуться с места.

«Опять эта дылда с самолетиком». Так, кажется, сказала та парочка. Он не ослышался?..

Василий Николаевич долго смотрел вслед тем, кто произнес ошеломившие его слова. Значит, он им смешон? И только ли им?

Когда, с каких пор?. Смешон, неуклюж, неопределенного возраста, большой чудак с игрушками в руках. «Интересно, сколько ему лет?»

Действительно, сколько? Как быстро пролетели годы, а его мечта так и осталась «в коротких штанишках»…

От великого до смешного – один шаг. Эту классическую эволюцию Василий Николаевич осмыслил, испытал на себе, глядя вслед удаляющейся парочке.

А вскоре его настиг еще один удар. Вернувшись вечером из Дома юного техника, Василий Николаевич не застал ни жены, ни Федора. На столе записка: «Ушла я, Василий. Сколько раз говорила: что ты есть, что нет тебя, и как мы тут с Федором? Да и не нужны мы тебе вовсе. Ищи свое счастье за облаками, а я нашла себе земное…»

Нашла земное? Это значит другого?! Да нет, нет! Тут не то, совсем не то… И, невидяще глядя на записку, слышал голос Глаши: «Ты Федьку моего не порть! Сам из ума выжил, и его с малых лет? Не дам я калечить ребенка, не дам!..»

Калечить? Но ему казалось, что он всегда был внимателен к сыну.

Вернувшись с работы, с очередных ли соревнований, всякий раз подробнейше, словно взрослому, рассказывал о моделях, о продолжительности их полета, о скорости, о высоте… И сынишка, хоть и совсем мал, тянулся, слушал завороженно… Вот Глаша, это верно – нужны были ей все эти полеты, если только земными заботами и жила?

И подумал впервые: может, и права жена? Сам-то он далеко ли улетел, каких высот достиг, тоскливо глядя вслед моделям? Крылатой была его мечта, но сам-то он не был рожден для полета. Но сам-то, сам… Вот-вот! – в этом все и дело. Кто он? «Что ты есть, что нет тебя…»

И с того дня, после ухода Глаши, зашатало Василия Николаевича…

Зашатало и понесло, как первую неудачливую модель. Понесло, обламывая хрупкие крылья мечты. К чему он стремился? Чего достиг?

Рекордов? Знают, помнят ли о них эти вот идущие мимо земляки-горожане? А сама жизнь, не его личная, а вообще жизнь, по сути своей размеренная, разве нуждается она, жизнь, в каких-то рекордах?

Думая так, помрачнел, осунулся, замкнулся в себе Василий Николаевич. Толстые, мягкие губы уже не освещались улыбкой. Походка стала еще тяжелей, неуклюжей, а встречные, завидев сутулую фигуру, не раз оглядывались вслед, узнавая и не узнавая старого своего земляка. Да и встречи становились все реже: уволившись из Дома юного техника, он почти перестал появляться на улице.

А город жил теми же заботами и праздниками. Все так же азартно толковали болельщики о прошедших соревнованиях авиамоделистов, давно уже ставших здесь традиционными. В городе нет-нет, да и говорили о Василии Николаевиче: на совещаниях, слетах, да соревнованиях. Да, его, оказывается, помнили, его, оказывается, ценили – как «зачинателя», как свою доморощенную знаменитость.

Не мог предполагать такого Василий Николаевич – эгоистическое самолюбие всегда близоруко.

Если выдавался погожий день, Василий Николаевич проводил его с утра до вечера за верстаком. Тем самым стар采ьким верстаком у мазанки, под которым когда-то, так давно, словно в сказке, сплел из стружек золотистые кружева. А может, это и вправду было только в его воображении, зыбком, каким только и могут быть воспоминания о своем детстве.

Что делал за стареньким верстаком Василий Николаевич, долгое время оставалось для всех загадкой. Из-за сутулой, низко склонившейся спины Жворина ничего нельзя было разглядеть со стороны. Заходить же во двор нелюдимого столяра соседи не отваживались.

А работой Василия Николаевича можно было бы залюбоваться. Вот в одной его руке короткий тупой брусок, в другой – стамеска: ее острое лезвие, быстро и ловко скользя по бруску, вьет тонкую стружку, с хрустом обрубает ее и снова гонит, завивая в кольца. Вот брусок вскинут на ладонь, мгновенно осмотрен со всех сторон, и снова, похрустывая сухим деревом, мелькает стамеска, холодным лучом поблескивает отточенное лезвие…

Раз в неделю, всегда в один и тот же день, Василий Николаевич, сгибаясь под тяжестью мешка, уходил куда-то из дому. Куда? Этого никто не знал.

Домой Василий Николаевич возвращался с пустым мешком… Никогда никому не рассказывал он, что с утра до вечера вытачивает колодки. Сапожные колодки для ателье, выполняющего индивидуальные заказы…

Василий Николаевич ненавидел себя за это и с непроходящей брезгливостью бросал в мешок уже готовые колодки. Бросал, не сознавая, что каждая из них едва ли не сувенир, едва ли не произведение искусства. Они просились в руки, они, казалось, могли почувствовать их теплоту, их ласку. Но Василий Николаевич оставался глух и слеп.

Он просто день за днем делал сапожные колодки. Заказы росли, росла и новая его слава. И наконец-то завелись лишние деньжата: оказалось, «колодочное» его ремесло уникально, и каждый заказ высоко оплачивался. А он никак не мог понять, не мог согласиться с этим. И усмехался оскорбленно: «Колодка!.» И всякий раз при этом видел мысленно стремительный взлет белокрылых своих птиц – невесомо-трепетных, неуловимых, тающих в небе, как сама мечта…

Она-то ценилась так дешево!

От заказчиков Василий Николаевич все чаще стал возвращаться пьяненьким. Но только гаже становилось ему на душе, и пить он вскоре бросил. Деньги же – столь непривычные для него суммы – надо было куда-то девать. Оказалось, для этого необходим особый навык… Он отсылал их Федьке, однажды, посмеиваясь над «дурью», купил себе шелковую полосатую пижаму и целую стопку сорочек, потом телевизор. И, наконец, не устояв перед соблазном, с радостно ноющим сердцем – электрический токарный станочек экстра-класса.

Купил, установил, протер-проверил… Да только так он и стоит, станочек экстра-класса, накрытый клеенчатой попонкой, ибо видеть его Василий Николаевич без раздражения не может. На кой черт купил – колодки точить?!

Да, не нужна была ему его новая слава, и не знал он, куда девать себя от неожиданного «благополучия». Он ходил по улицам все более сутулясь, стыдливо пряча глаза от встречных. Чего он стыдился? Люди далеко не всегда могут понять чужую душу, а потому, видно, угрюмая отчужденность Василия Николаевича только раздражала их. И они, узнав-таки, чем он теперь занимается, словно мстили, бросая ему вслед нелепое прозвище: «Куда ползет эта «колодка без мотора»?..»

…Проводив сына до первого угла своей тихой куцей улочки, за которой начинался иной, каменный и шумный мир города-новостройки, Василий Николаевич медленно и, как всегда, когда уставал, подволакивая ноги возвращался назад. День был веселым, солнечным, старые высокие тополя, в незапамятные времена шпалерами высаженные вдоль «четной стороны», бросали густую тень на дорогу, по которой давным-давно никто уже не ездил, а потому она, как и вся улица, поросла мелкой ползучей травой, густой и жесткой. В тени были и деревянный тротуар, по которому шел Василий Николаевич, и дома, старые, с осадистыми крышами. Все они – затемненные ли тополями, ослепленные ли ярким солнцем – словно бы притихли в дремотном ожидании чего-то неведомого.

Да нет, почему же неведомого? О судьбе родной улочки, словно о своей, частенько размышлял-грустил Василий Николаевич. Улочка его, как зеленый

оазис, как тихое застойное озерцо в окружении высоких каменных лабиринтов вновь выстроенного города. Очень скоро настанет день, когда придут экскаваторы, бульдозеры, и уже не будет ни тишины, ни старых тополей, ни травы-муравы, как не будет и дома Василия Николаевича Жворина.

Но сейчас совсем не о том были его мысли.

«Я, как ты, я, как ты…» - повторял Василий Николаевич слова Федора. Они были сказаны сыном просто так, сорвались немудреной шутки ради, и только. Но Василий Николаевич вопреки всему хотел-таки видеть в них особый, дорогой ему смысл и был обманно счастлив, хоть и проводил сына.

Но ведь Федор и так, без армии, находился для него всегда, всю жизнь, как бы в дальней и совершенно неведомой ему дороге… Странно ли, но все же счастлив был Василий Николаевич, счастлив пробудившейся надеждой: ведь его, его сын-то, и так схож… И все, буквально все – высокое голубое небо, жаркое солнце и едва слышный шелест тополей, яркие, чуть трепетные резные светотени, бросаемые листвой на тротуар, заборы и крыши, и даже то, как мягко пружинят, поскрипывая под ногами старые, пересохшие плахи, – все, как никогда прежде, благодатно отзывалось в нем.

И только дома, острее необычного вдруг почувствовав свое одиночество, он, присев за неприбранный стол, на котором все напоминало о только что ушедшем сыне, стал думать, а что же, собственно, в Федоре схоже с ним? Что?.. И не мог найти, и не мог ответить, так как не знал, успел ли заложить в детскую еще душу сына самую малую толику своего отцовского нутра. «А-а… никуда я не метил! Лямка… А ее тянуть надо». Вот оно! И опять слышал голос Глаши: «Ты Федьку моего не порть!» Выходит, он только плоть его, Василия Жворина, плоть, в которой все схоже: и обличье, и степенность, и легкая неуклюжесть в походке и движениях…

Думая так, Василий Николаевич вдруг почувствовал, что душно ему, словно тесны стали стены – старые, с пузырящимися обоями.

И даже веселая яркость солнца, которая радовала, когда он шел по Тополиной, проводив Федора, сейчас, проникала сквозь пыльные стекла окон, не оживляла, не могла оживить его жилище, а только обнажала, высвечивала застойный мир и унылую запущенность дома.

Все эти ощущения как-то разом навалились на Василия Николаевича, будто и не прожито им здесь, среди этих стен, в этом мире и одиночестве, уже столько лет. И он вышел из дому во двор, вышел поспешно, едва ли не выбежал, словно бы и вправду мог убежать от самого себя.

Василий Николаевич пересек двор и, не зная куда себя деть, чем заняться, подошел к старому верстаку, не глядя, заученным движением провел по нему широкой темной ладонью, сметая мелкую стружку, осмотрелся: с левой стороны к его особнячку совсем уже близко подошли новостройки. С их высоты крохотный двор с одичавшими яблонями и дом с прогнувшейся крышей казались, наверное, необитаемым островком…

Василий Николаевич резко, словно почувствовав боль, отдернул руку от верстака: она случайно коснулась колодки. Ненавистные колодки, колодки,

колодки… Они заслонили ему весь мир, отравили его душу, сделали ее глухой и черствой. Как, почему, когда случилось такое? Он словно бы и не помнил… Или его мечта о небе была слишком эгоистична? Даже в авиамодельном, порой забывая о ребятишках, стремился только к своим успехам….

Морща лоб, пытаясь что-то вспомнить, Василий Николаевич потянулся к колодке, взвесил ее на ладони – изящную, похожую – право же, очень! – легкими, плавными контурами на модель какого-то белого стремительного корабля… Усмехнулся коротко, просветленно и мягко, впервые угадав неожиданное и совсем ненужное, даже нелепое сходство, и, покачав корабль-колодку, вспомнил самое для него обычное, очень далекое от воображаемых морских волн: сегодня «колодочный день» – и ему нужно нести их заказчику.

И сразу вновь пожухло, постарело его лицо, у рта легли глубокие, резкие складки. Достав из-под верстака мешок, сутулясь и что-то бормоча, Василий Николаевич с привычной отрешенностью сложил в него глухо, словно клавиши какого-то деревянного инструмента, поклацывающие колодки. О чем он думал в эти минуты? Неужели вновь о каком-то фантастическом корабле, корабле, так неожиданно увиденном им в сапожной колодке?..

Сгибаясь под тяжестью мешка, Василий Николаевич вышел на улицу. День был все так же ярок, и по деревянному тротуару, рядом со Жвориным, двигалась его горбатая тень.

– Колодка без мотора! Колодка без мотора!..– раздался радостный мальчишеский вопль. Но Василий Николаевич будто бы и не слышал его, осторожно передвигая ноги, примериваясь как бы ловчее переступить с деревянного настила на асфальтовую дорожку нового тротуара. Но не переступил, остановился, словно бы к чему-то прислушиваясь.

Где-то совсем рядом раздавались всхлипывания. Василий Николаевич медленно и неловко – ему мешал тяжелый мешок – повернулся налево. За углом его, жворинского, покосившегося забора сидел мальчонка, размазывая грязными кулаками слезы. Всхлипывая, он неотрывно смотрел вверх.

Проследив его взгляд, Василий Николаевич замер, нелепо вытянув шею. Руки его машинально стали перебирать горловину мешка, медленно-медленно опуская его к ногам, да не удержали – мешок грохнулся на тротуар. Но Василий Николаевич даже не вздрогнул. Все так же вытянув шею, он продолжал смотреть в одну и ту же точку: зацепившись за высокую стрелу башенного крана, у дома-новостройки беспомощно болтался большой, ярко расписанный змей… Вспомнил ли Василий Николаевич, глядя на змея, того необыкновенного красного орла, так уже невероятно давно промчавшегося над Тополиной улицей, призывный клекот его мотора, или первую свою модель, улетевшую с плоской крыши мазанки неведомо куда, услышал ли снова холодные, бессердечные слова врача приемной комиссии:

«Летать не будете…»

Плач мальчишки вернул Василия Николаевича из давным-давно минувших дней – радостных и горьких, – ставших вдруг обманно близкими, вернул на старый, трухлявый тротуар, к мешку с колодками, на который он

смотрел как-то слепо, невидяще, а потом недоумевающе. С таким же недоумением он глядел какое-то время на мальчишку, на зареванное лицо, пока не заметил в его руке катушку с обрывком тонкой суровой нити.

И тут что-то случилось, что-то вдруг произошло с Василием Николаевичем. Толстые губы его болезненно искривились, белесые, едва приметные, как и у сына, брови поднялись, и на широкий лоб вместе с крупными морщинами набежало выражение какой-то неясной еще озабоченности. Особенно ярко и уже беспокойно озабоченность эта отразилась в его глазах, ставших большими и круглыми из-за высоко поднятых бровей.

Наступив на мешок с колодками и едва не упав, Василий Николаевич хотел было его поднять, но, едва прикоснувшись, резко выпрямился и неожиданно быстро зашагал назад, к своему дому. Он шел к нему не оглядываясь, сосредоточенно и целеустремленно, морщины сбежали с его лба, не было и тени недавней озабоченности в его просветлевших глазах: словно что-то припомнил он, нашел что-то давно потерянное, и вот спешит, стремится не упустить.

Ребятишки, в их числе и потерпевший крушение воздухоплаватель, затеяли на тротуаре веселую игру с сапожными колодками. Одна колодка могла быть и танком, и легковушкой, и кораблем. А приткни их друг к дружке – электропоезд!..

Разыгравшись, они и не заметили, как на крыше мазанки появилась сутулая фигура Василия Николаевича.

– Эй, ушастики! – раздался его глуховатый, смеющийся голос. – Бросай к чертям колодки! Бросай их… Всем смотреть в небо!..

Из его рук вырвалась деревянная птица. Потом еще одна, еще и еще… Стремительные, но и послушные воле стоящего на крыше длиннорукого человека, набрав высоту, они описывали над Тополиной улицей, над новостройками, над восторженными, задранными к небу мордашками ребятни торжественный круг.

Василий Николаевич, смеясь, тоже смотрел в небо. Может быть, первый раз за все эти годы… Да, он странный, непонятный для людей неудачник. Пусть будет так. Но счастливый, черт возьми, неудачник! Хоть и поздно, но он-таки осознал это. Свою мечту о небе он передаст ребятишкам. Ведь небо начинается там, где сладко, с горчинкой пахнет разогретым над пламенем спиртовки бамбуком, столярным клеем, где тихо потрескивает рисовая бумага, подсыхая на легких нетерпеливых крыльях стремительных кораблей.

Лесная музыка

Семен уже знал: стоит ему только подойти к пустырю, где был некогда усовский дом, как он опять услышит эту музыку. Дом сгорел в такую же точно пору – в ясный день поздней осени, сгорел ярко и как-то поспешно, словно бы торопясь подняться дымом в холодное, синее небо. С того пожара на кордон приходит десятая осень. И только нынче, где-то с середины лета, Семен стал опять слышать ту, так давно умолкшую музыку…

Немного подволакивая ногу, всегда не имеющую после полудня, он медленно, чуть выставив левое плечо, приближался к старому пожарищу. Под толстыми подметками сапог мягко шуршала вялая, не пересохшая еще листва, и можно было подумать, что Семен вслушивается в неясный ее шепот – так сосредоточенно-выжидающе было его сухонькое, удлиненное, заросшее седой щетиной лицо.

Но смотрел он не под ноги, а туда, где некогда высился двухэтажный бревенчатый особняк с просторной верандой-фонарем. Бывший помещичий дом – летняя усадьба генеральши Усовой – стоял на чуть приметном всхолмье, в широком полукольце престарелого березняка. Много годов каждое лето в нем проводили пионеры, и лесную, волглую по утрам тишину Семенова кордона будили резкие вскрики горна. Но совсем не эта «музыка» чудилась ему уже, почитай, с июля. И он знал, почему.

В то последнее лето приехала с ребятишками новенькая учительница. И вместе с ней во втором этаже, в угловой спаленке, поселилась музыка.

К вечеру, обойдя-объехав свое лесное угодье, Семен спешил домой, зная, что у крыльца, с нетерпением ожидая его возвращения, уже топчется Юрка. Деловито, с не изменяющим никогда аппетитом варе и вая боку миску канут, передается ему леведока, все нетерпение сынишки, Семен, однако, сохранял степенную неторопливость. Медленно, глоток за глотком, он выпивал кружку черного дымящегося чая и, разомлевший, утерев полотенцем взмокшие, как после бани, лицо и шею, вяло вставал из-за стола.

Они вместе выходили из сторожки, и Семен, исподволь приглядываясь к Юрке, каждый раз с удивлением угадывал, что у сынишки, как и у него самого, перегорев, гасло недавнее нетерпение, и они шли какой-то замедленной, настороженной походкой, словно боясь кого-то вспугнуть. Во всяком случае, у Семена шаг становился вроде бы мягче, хоть и порядком уматывался он за день, и сердце стучало куда как шибче привычного. Окольная тропка выводила их к усадьбе, и они, усевшись на широкий пень от старой поваленной в грозу лиственницы, терпеливо ждали.

Музыка возникала всегда как-то робко и была непонятна Семену. Но он уже знал, что еще немного – и звуки обретут упругую силу, и ему будет чудиться, что кто-то большой, сильный и непременно прекрасный поет, сомкнув губы, но все ясно, хоть трудно дышать и в груди поселяется странная щемящая силища. Подолгу не умолкала скрипка, а Семен все сидел, и ни одна земная забота не приходила к нему сюда… Лишь иногда, взглянув украдкой

на Юрку, с недвижной восторженностью слушающего музыку, он досадовал, что так и не собрался до сей поры в город. Решили они с женой купить баян и ранним утром поставить его на табурет у кровати спящего сына.

Купили, поставили. Да только ни восторгов, ни игры, к огорчению своему, не дождались. Та лесная музыка – больше некому! – заразила-наставила мальчишку совсем на нежданный для отца и матери лад…

Немного не дойдя до пожарища, Семен опустился на знакомый ему пень. Перед ним, на округлой, огражденной толстенными и словно бы – смотря со стороны – заиндевелыми стволами пустоши, пестрой от пожухлых трав и желто-рыжей листвы, четко выделялся большой прямоугольник, заросший полынью. Откуда она здесь? У же на другой год после пожара, когда Семен выволок на дрова уцелевшие балки, что держали пол первого этажа, высоко поднялись сизо-голубые бархатистые метелки полыни. Почему-то она всегда появляется там, где отступает человек, и до поздней осени, будто давая понять, что куда как жизнестойка и все ей нипочем, цветет полынь пусть невзрачно, желтовато-тускло, но долго.

Совсем не упрямство полыни занимало сейчас лесника. Семен отдающе посмотрел на молоденькую лиственницу, что когда-то совсем еще тонкая тянулась к тому, сейчас уже не существующему окну сгоревшей усадьбы. Освещенная сбоку низким осенним солнцем, лиственница казалась сотканной из золотых нитей, до того тонких, что и не дохни – облетит. Но дыши не дыши, а нынче в ночь она непременно осыплется… А может, слышится ему порой та давняя музыка не потому, что приезд Юрки-студента напомнил былое, а приходит она к нему взамен тех видений, которые будто бы непременно являются перед близкой кончиной? И ему уже не увидеть, как по весне покроется лиственница-молодуха зеленой, душистой, мягкой, как пух, хвоей…

Мысль не понравилась Семену, и он в сердцах прихлопнул подметкой черно-коричневый кругляк, осыпав сапог рыжей, пересохшей пыльцой «дедушкиного табака». Ругает он себя за такие вот глупые наваждения и пуганул бы их крученным словцом, кабы был где в другом месте. А здесь не может: место это особое.

И тут словно бы хруст какой прошел над голоствольным лесом, и Семен, забывшись, закрутил мудреное словечко: за близкой седьмой просекой позже обычного затарахтел экскаватор. Значит, все ж таки роют! Скривив рот в досадливой ухмылке, Семен не сдержался от злого укора: «Строители, чтоб им!.. Все лето раскачивались, а землю рыть в самые дожди угораздятся». И сплюнул раздраженно и пренебрежительно.

Недовольство это было вызвано совсем не медлительностью строителей. Какое дело Семену до этих котлованов? Роют, значит, надобно. Пустошь всегда укор для хозяйского глаза. Только вот в негожую пору начали – осенью…Болтать-то давно болтали: прямо, мол, за седьмой просекой и начнут ставить текстильную фабрику.

Может, лет пять болтали с дотошными подробностями. Семен верил и

не верил, а потом свыкся с такой противоречивой неопределенностью, в нем поселившейся. О чем длинно говорят, то коротко забывается.

А минувшим летом вдруг объявилось: строят! И с этой вестью к Семену пришла совсем нежданная тревога, от которой ему уже никак не отгородиться.

И сейчас, слушая прерывистый, то натужный, то какой-то расслабленный шум экскаватора, Семен думал, что никому уже не нужны его каждодневные лесные обходы да объезды, как и сам кордон – старый, неказистый домишко…

Беда совсем не в том, что за седьмой просекой поднимутся корпуса текстильной фабрики – строят-то ее на пустоши, лучшего места не сыскать, а в том, что просека станет шоссейной дорогой, вдоль которой поставят пятиэтажные дома фабричного городка. На фабрике же, известно, будет не одна сотня рабочих. Да семьи их…

«Человек – он приживчивей тополя, - размышлял Семен. – Тополь что – воткни черенок в землю, поднимется одно дерево, а поставят дом – через пару лет он уже тесен. Ставь новый… Это только попервоначалу – сотни рабочих, а там и на тыщи счет пойдет. А лес… что станет с лесом заповедным?»

И Семен думал, тревожась и недоумевая: как же так можно допустить? Лес-то его редкостный, первой группы лес. А значит, в нем дозволена лишь санитарная рубка ухода, что значит выборочная, та, где перестойный лес. Так его и нет, перестойного: чистый да звонкий, здоровый, одно загляденье… И Семен мысленно видел его весь, участок за участком. Могучая золотоствольная реликтовая сосна, древнейшая на земле… Итальянская пиния. Белая веймутова – американская-красавица, серо-зеленую серебристую хвою поднимает на полсотни метров от земли… Румелийская. Черноствольная австрийка – самая что ни на есть смолоносная. Редчайшее сочетание пород. А какая здесь липа, дуб какой! Живая красота…

С трудом дотянувшись до земли, Семен поднял округлый, словно золотой червонец, лист осины, провел заскорузлым, плохо гнущимся пальцем по белесой прожилке. И опять вспомнил о сыне.

Так вчера и не пришел Юрка. От города до кордона – два часа пешего ходу, а он и в воскресенье не навестит отца с матерью. Вишь ли, последние дни сухие стоят, и он-де спешит «закончить стенку». Художник… как его Монументалист! Ежели бы только в стенке той дело. Может, и права мать… Поналекла вчера, понаготовила, кролика зажарила, глаза проглядела – да все зря. А потом хуже той пилы терзала Семена за Юркино неуважение и за дурную – иначе и не сказать – женитьбу его вопреки материнским слезам…

Глубоко, до всхлипа в груди, втянув воздух и дунув на осиновый лист, Семен проследил, как, соскользнув с ладони, тот невысоко вспорхнул и желтой невесомой бабочкой опустился неподалеку на зеленую еще траву. Однако спешит-шагает время. Совсем вроде бы и недавно собирал он для Юрки с ранней до поздней осени листья со всего лесного разномастья, какое только и было на его «квадрате».

Отбирал-выискивал самые чудные – от чуть тронутых осенней

позолотой, но еще волглых, то нежно – то темно, то иссиня-зеленых, то кроваво-пылающих листьев. И Юрка часами, забыв обо всем, как и на том пне старой лиственницы, сидел над гладко обструганным обрезком доски, выкладывая, выклеивая на ней необыкновенно живые картины. И Семену казалось, что он узнает возникающий из листьев лесной уголок: березнячок, запруду, ветхий мостик через нее и даже уголок закатного неба. И от картины пахло лесом, землей, травами, пахло взаправдашно, чуть щемяще. И, уже глядя на сына не без тайного удивления, едва ли не с почтительностью, Семен говорил себе, что терпение и особливо такое нежданное пристрастие в мальчишке – от той предпожаровой лесной музыки, которую привозила на усадьбу молодая учительница.

Юрку величали в областной газете мудреным словом «флорист» и, рассказывая о выставке его листаных картин, прибавляли уважитель-Но: «неожиданный, глубокий, яркий..» А Юрка каждый день в любую погоду ходил по лесной тропке в поселковую школу, не боясь ни осенней густой темени, ни лесных загадочных голосов, ни зимней стужи. И думать не думал о Москве.

Да, вроде бы недавно все это было, а сына не узнать. Не то чтобы вырос – вытянулся, хотя остался все так же тощ и узкоплеч. Да вот еще обзавелся в этом году очками – с таких-то лет, в студенческом еще звании! Семену же седьмой десяток скоро сравняется, не держал очков сроду, а видит, ровно сыч в ночи.

Но не в очках все дело – в характере Юркином. А сказать понятней – в его дерзкой женитьбе. В начале лета, приехав из Строгановки, заявился с сухопарой – под стать себе – девчонкой, с пацаном-двухлеткой на руках и объявляет: жена, мол, Настя, городская-местная, расписалась еще прошлой осенью, в день возвращения в институт, а потому и не успел познакомить. Ребенок?

Звать Витькой, и теперь он, дескать, мой сын… Мать до сих пор не оправилась от такой радости: мальчишка ведь еще, а нашел себе брошенную да с чужим довеском. Или в Москве, в институте том, ничейных девчонок нет? Да и у нас, в городе…

И что же он матери ответил, очкарик этот? Ничейных, мол, сколько угодно, а та, которая моя, – сердечная, только одна и сыскалась – Настя…

По правде сказать, Семену надоели материнские причитания. Да и в неожиданном выборе сына и в той спокойной твердости, с которой он выслушивал материнские упреки, Семену виделись все те же, всегда удивлявшие его, непонятные ему, но находящие отзвук в душе Юркины самостоятельность и упрямство. Потому каждый раз, в редкие приезды сына, он, будто оберегая его от материнских упреков, а попросту спеша выговориться, был заводилой всех разговоров. Но получалось так, что чаще всего в них звучала его собственная беда.

«От леса-то теперь что останется, когда городок в нем, а там и хозяйства разные пойдут, гаражи да мастерские, и людей не счесть…

Какая голова думала?»

«Ну-ну, отец, а как же быть? Стройка есть стройка: значит, так нужно. Засиделся ты здесь, а прокатись по стране – везде нынче строят. Город наш – и тот не узнать».

«Что мне город – пропадет лес-то!»

«Не пропадет, будет вроде лесопарка. Слыхал о таких? Послужит людям».

И сын, почему-то вспомнив о своих картинках из листьев, говорил тогда о них, снисходительно посмеиваясь над увлечением своей, юности, над их недолговечностью. Где они, те его лесные картины?

Высохли и осыпались трухой. Вот, мол, и сама природа отступает перед нашествием времени – к кордону город-то подошел! А потому ее нужно воссоздавать фундаментально… Слова эти показались Семену столь же громоздкими, как и те, еще не построенные пятиэтажные дома в лесу. «Воссоздавать фундаментально» - это – природу-то! А значит, и лес его…

Семен догадывался, что значат так озадачившие его Юркины слова. В городе сын «делал стенку» - это была дипломная работа выпускника отделения декоративно-монументальной живописи. На стенке той, лет семьдесят бывшей просто кирпичным забором, огораживающим территорию ткацкой фабрики, уместилось многое.

И чтобы увидеть все разом, Семен – в тот первый свой приезд – перешел на противоположную сторону улицы, к другим таким же любопытным. Всяк прохожий и не захочет, а остановится: картина прямо на площади, на стене фабрики – дивно…

В левом верхнем углу стены Семен узнал силуэт «Авроры». Освещаемые желтым ее лучом, расширяющимся на четверть стены, неслись ярко-красной лавиной конница, пулеметные тачанки. Четкими силуэтами, один за другим – красноармеец в буденовке, моряк, рабочий. За их спинами заводские трубы, цеха. И вперекрест лучу «Авроры» - огненные трассы ракет, устремленных в космос.

Семен медлил переходить через улицу, к сыну. Он молча смотрел на стену, на все эти цветные силуэты, так далекие от реальной натуры, которую они изображали, но и одновременно так похожие и необьяснимо волнующие… Смотрел на сухонькую фигурку Юрия, совсем, казалось, немощную рядом с громадной стеной, и удивлялся уже не тому, что изображено на ней, а опять-таки неотступному упрямству сына. Все лето он у своей «стенки». Потный, усталый, да и силенок ему явно не хватает на такую громадину. Однако и отдыха не дает себе, а заодно – помощнику, товарищу, студенту того же института.

«Ну, как находишь? Впечатляет? – спросил Юрий и, не дожидаясь ответа, очертил скребком на стене, покрытой цементом, большой овал.– Здесь вот, в этом кадре, будет колхозное поле. Ну, а какое поле без комбайнов и березок?»

«Какие же они будут, березки?» - спросил Семен, и в голосе его

неожиданно прозвучала усмешка.

Нет, ему приятно было видеть сына в таком обличье: кирзовые сапоги, тяжелый брезентовый передник, старая клетчатая ковбойка с высоко закатанными рукавами. Вся одежда, как и руки Юрия, перепачкана цветным цементом. Прямо мастеровой человек, умелец, каких Семену довелось видеть в давнюю пору своей молодости: с неторопкой, даже важной медлительностью, внушающей завистливое уважение и робость, они ремонтировали зимний особняк Усова и домовую церковь при нем.

Весь этот необычный фронт работ – грубо сколоченные подмостья, широкие деревянные ящики, наполненные жидким цементом: желтым, красным, черным, и совсем неузнаваемая, некогда рыжая кирпичная стена, на которой сын пытался запечатлеть целую эпоху, - все это было понятно Семену, и смотрел он сейчас на Юрия с тем тайным удивлением, в котором и доля почтительности, как и тогда, перед мастеровыми. Но в то же время не отступало чувство неосознанное, похожее на досаду. И он переспросил упрямо, уже не скрывая усмешки:

«Дак какие же они будут, березки-то? »

Прелесть…»

И, объясняя отцу технологию такой настенной росписи, он говорил, что цемент наносится на всю стену послойно – серый, желтый, красный, синий, а когда затвердеет, его снимают скребками, придерживаясь рисунка, до нужного цвета.

Семен, конечно, слушал Юрия не без любопытства, хоть и совсем в другом обличье представлялись ему сын- художник и работа его. У ж больно тощ он для столь трудного дела. Передник-то, как на колу, болтается. И что заставило Юрку променять те живые его картины на забор этот, на цемент синий?..

А сын между тем говорил замысловато, но все же понятно, что в росписи такой не просто пропаганда, но прямое отражение дней наших, и, скажем, те же березки будут украшать эту стену и город многие годы: не страшен им ни дождь, ни мороз. На что старый лесник про себя возразил: «А мне дак березы привычнее те, которые живые, а не из цементу. И страшны живому лесу не морозы, а людское недомыслие».

…Экскаватор за седьмой просекой шумел все назойливее и вроде бы громче прежнего. Или там их собралось уже несколько? И Семену вдруг представилась такая необычная картина. Сидит он, как и сейчас, на старом пне, а вокруг рядами пятиэтажные дома, и на всех серых стенах – Юркины березы из синего цемента. И даже почудился его голос: «Природу нужно воссоздавать фундаментально!..»

Шумел экскаватор, и молоденькая лиственница мелко, словно в испуге, дрожала тончайшими золотыми нитями. Или так только, казалось, потому что разморгалось ему ни с того ни с сего и он, уткнувшись локтем в колено, прикрыл глаза ладонью.

Сейчас бы Семен больше всего хотел услышать… нет, не ту, спугнутую

экскаватором музыку, а треск мотоцикла и сиплый от постоянных разъездов голос Епифанова – облисполкомовского инструктора, давнего дружка. Это он притарахтел тогда на разбитом своем мотоцикле по осклизлой после дождя тропке и крикнул, не заходя в избу: «Нынче начнут фабрику-то!»

И теперь бы услышать его мотоцикл… Да что-то давненько не появляется Епифанов на кордоне. Зря, видно, прозвал его Семен «лесным человеком». Вроде бы и жило в Епифанове особое пристрастие – каждую неделю появлялся на кордоне, и не из-за грибов-ягод или там охоты, а так вот, запросто любил он походить по тропкам, послушать Семеновы разговоры о лесе да о жизни, а если какая забота, просьба ли, то передать их исполкомовскому начальству, в лесничество. И подтолкнуть там, и напомнить кому надо…

И вот сгинул куда-то «лесной человек» Епифанов, сгинул, когда так нужны Семену его совет и заступничество. И в лесничестве помалкивают, словно и нет беды.

«Или в бумагах своих инструкторских завяз? – гадал Семен.-Или в другой район Епифанова кинули? А может, не дай бог, свалился где с двух колес-то? .. Или все куда как просто: не может ничем помочь, вот и петляет от меня…»

Семен встал, подволакивая правую ногу больше обычного, зашагал мимо старого пожарища к кордону. Не дойдя до него, замедлил шаг, со странным для себя интересом разглядывая старый дом с прогнувшейся крышей, обросшей коричневым мохом, крольчатник, огороженный металлической сеткой, широкую дорожку, идущую от крыльца, мимо частого, но голоствольного сейчас мелколесья, к запруде и через мосток. И ему вдруг увиделась та, сложенная Юркой из листьев живая картина, и дохнуло в лицо взаправдашним, еще зеленым лесом и неложухшими травами, недавно омытыми дождем и пригретыми солнцем.

Свернув к сараю, Семен бесцельно, в неприятной досадной растерянности постоял у приоткрытых дверей, за которыми размеренно и аппетитно хрустела свежим сеном старая его пегуха. Подошел к обшарпанной таратайке, тронул ее дырявый короб, вяло подумал, что надо его все ж таки оплести ивняком, взглянул пустым, рассеянным взглядом на оглобли, круто задранные в небо. В раздумье помял седую щетину щек, и на сухоньком его лице вдруг проглянуло неожиданно знакомое выражение, Юркино мальчишечье упрямство – над доской с пахучими листьями, на подмостях перед стеной с застывшим цветным цементом, в споре с матерью…

И, озлясь на эту свою растерянность, на раздражающий шум экскаватора, на совсем онемевшую ногу, Семен резко ухватился за оглобли, напрягшись, рванул на себя, стремясь перетянуть таратайку, и оглобли с такой силой хрястнули оземь, что Семен, чертыхнувшись, упал и так, не вставая, принялся их торопливо ощупывать: не обломал ли сдуру? И потом, обретя спокойствие, присев на оглоблю, завел мысленный разговор.

«Куда бы все проще, найди я Епифанова. Пошли бы с ним к Николаю

Федоровичу. Да только где он – Епифанов? А не найду, сам возьму в оборот председателя. Так, мол, и так, вспоминай теперь – рассказывай промеж делов, Николай Федорович, о кордоне, о лесе заповедном, охотничек, – какой он был, и что с ним сталось. Ты же большой знаток… А ежели всерьез, то послушай, председатель, городок-то, что при фабрике, его ведь куда сподручнее западнее строить, где пустошь. Сколько раз ездил, прикидывал! Сколько раз…

Там, конечно, овражек между фабрикой и городком оказывается.

Овражка-то, видно, и испугались плановики-архитекторы, да и сунулись в лес. Его, выходит, легче свалить, чем тот овражек засыпать…

Свалить, а потом прутики втыкать. Озеленение!.. Ты, может, и не думал об этом вовсе? Работы у тебя, ясное дело, много. То-то не узнаю я тебя, Николай Федорович: сухой ты стал, жесткий, как ломоть на ветру, и ломкий – это я о характере. Конечно, у плановиков-архитекторов куда как красиво получился фабричный тот городок среди леса. Дача! Но они-то на бумаге рисовали-строили, а тебе дерево за деревом валить, корчевать придется. Сердцу-то каково? Смотри, председатель, лес – это тебе не Юркина «стенка», живой лес-то, заповедный…»

Когда Семен разобрал вожжи, ему почудилось, что со стороны старого пожарища к нему, как легкое дуновение ветра, донеслась музыка. Но он не стал ждать, пока невнятные звуки обретут знакомую упругую силу, – он нуждался сейчас в спокойной уверенности, а ее легче найти в согласном молчании леса.

Военная проза Г.П. Кочеткова: отзывы

Реконструктор кавалерии, дважды лауреат Премии Губернатора МО «Наше Подмосковье»
Тимур Муминов



Одним из незаслуженно забытых советских писателей-фронтовиков является, на мой взгляд, Геннадий Петрович Кочетков. Его сборник коротких рассказов ЭТЮДЫ РАНЕНОЙ ПАМЯТИ ещё ждет профессиональной оценки литературоведов, а, может быть, и достойной экранизации. В своем творчестве автор в духе лучших традиций русской военной прозы обращается к проблеме обычного человека на войне на основе собственного опыта.

Книга, вышедшая спустя полвека после последнего залпа Великой Отечественной войны, лишена казенной героики и чрезмерной романтики. Но реалистичность повествования и психологизм Кочеткова не переходят и в шокирующий натурализм. Например, местом действия рассказа ЗВЕЗДА является поле, усыпанное воронками от бомб, мин и снарядов. Кругом лежат трупы совсем молодых ребят, для которых первый день на войне стал и последним. Казалось бы, весьма душераздирающая картина. Для чудом уцелевшего героя рассказа, как и для Андрея Болконского, это поле стало местом созерцания вечности. Впрочем, наряду с философскими смыслами, в рассказах Кочеткова есть место и простым солдатским чувствам, что создает объемную картину характера героя. Считаю, что только такая картина позволит нашему современнику правильно понять мужество и героизм советского человека, одержавшего победу в самой страшной из войн.

Лауреат конкурса короткого рассказа «КоРа 2023», финалист Премии имени В.П. Крапивина 2023 года, победитель конкурса журнала «Урал» в разделе «Детская литература 2023»
Мария Гербер



Мастером короткого рассказа принято считать Антона Чехова. А мне очень хочется записать рядом с его именем имя фронтовика, писателя и театрального актёра Геннадия Петровича Кочеткова. Его «Этюды раненой памяти» – четыре короткие, яркие вспышки, в которых он рассказал о войне и помолчал о ней. Такой контраст сказанного и нарочно утаённого создаёт нужный темп, подсвечивающий прозу высокого качества среди тонн других текстов. Бесценно, что Геннадий Петрович писал о том, что хорошо знал. Потому и веришь его рассказам с первых строк, каждому слову веришь.

В рассказе «Звезда» ясно ощущаешь, как «живы лишь одни глаза», и смотришь, смотришь вместе с автором на ту звезду в ночном небе. «Почему же тогда не померкло небо?», – спрашивает автор, и внутри всё стягивает тугим канатом. Там, где страх крепко обнял надежду, где не осталось ничего, кроме звёздного неба и далёкой перебранки пулемётов, где ради мира приходится стать убийцей, начинаешь верить в чудо и глядишь на звезду, как на спасение. Она здесь, а значит, и мне ещё не пора. И только последние строки возвращают нас в реальность. Есть одна звезда, та, что на пилотке, в зелёный выкрашена. И в этом столько безысходности и одновременно столько отваги!

«Рыжий» начался так мирно, что я, было, подумала, вот сейчас солдаты пожалеют друг друга, а может, и вовсе пожмут руки. И такие ведь случае на фронте бывали! А потом склад с водой, мирный договор и предательство. И внутри у меня кто-то завыл от обиды. Мы сегодняшние часто думаем о том, что имеем, как о само себе разумеющемся. А там… Водички бы попить. И снова ком в горле. Страшно, Геннадий Петрович, как страшно и вместе с тем прекрасно вы написали! Бывает, читаешь художественную книгу или смотришь фильм, грустно, жалко, обидно… Но в голове крутится «не реви, это просто актёры, они живы, история такая…». А здесь больно, и знаешь, что всё взаправду. И тот подстреленный солдат, и бутылки минералки, и Рыжий…

«Гаврош». Это сколько же мужества должно быть в человеке, чтобы, иссыхая от голода, хлебать пустой кипяток и приговаривать, мол, «Сплошь все

гурманы!» и что медики говорят, голодать полезно. И сколько же должно быть гордости у ребёнка, чтобы в этом голоде отказаться от сладкого потому, что оно – немецкий трофей! А эта тёплая, обласканная детскими ладошками картофелина… Смотришь глазами автора на эти печные трубы, оставшиеся от погорелых избушек, на детей голодных смотришь, на артиллеристов, и сердце болит, в глазах щиплет. Как же это было возможно, чтобы в нашем прекрасном мире такой ужас творился! И среди ужаса этого тут же, вот прямо сразу, сколько любви и сколько добрых, сердечных людей…

Читаю рассказ «Капитан» и заранее жалею, что он последний из цикла. Мысленно иду с автором по дороге, за спиной Малая Роща. В голове крутится «Как же ему сказать…». Геннадий Петрович шагает, и я с ним. И с каждым шагом дорога становится всё тяжелее. А в конце и вовсе непосильной.

О творчестве Геннадия Петровича я узнала совсем недавно и была удивлена тому, что его «Этюды раненой памяти» очень малоизвестны. А ведь этим рассказам место на полках в книжных магазинах и библиотеках нашей страны, в памяти людей, в сознании подрастающего поколения! Только подумать, человек прошёл войну и написал об этом так, что даже спустя десятилетия читаешь и будто на машине времени путешествуешь по самым рваным, по сей день не затянувшимся ранам нашей истории.

Все, кто сейчас идёт по улице, едет в отпуск, пьёт кофе, сидя в кресле и глядя на небо, или наблюдает из окна за прохожим, шагающим куда-то с терьером на поводке… Помните, когда-то сотни тысяч людей знали, что стоят в шаге от смерти, смотрели ей в глаза и шли вперёд. Им мы обязаны всем, что имеем. Каждым своим днём. И нет у нас сегодня другого более важного дела, чем хранить память о жизнях, что были отданы за наши. Как? Проще и быть не может. Читайте! Читайте, идёте ли по улице, едете ли в отпуск. Пока пьёте кофе, сидя в кресле, читайте! Небо никуда не денется, оно синее, за эту синеву миллионы штабелями полегли, а сколько ещё полягут! Читайте. Себе, детям, детям их детей… И начните, пожалуйста, с «Этюдов раненой памяти». Подарите им полчаса, чтобы каждый из них навсегда остался в вашем сердце и памяти.

Писатель и литературный критик, отмеченный наградой «Золотое перо России»
Александр Трапезников



Памяти писателя-война

В последнее время и все больше и больше склоняюсь к мысли, что вся русская литература – и прошлая и нынешняя – это, по сути, литература воюющая, литература сражений и героических подвигов. Но не только в знаменательных произведениях, но и самих авторов. Толстой, Лермонтов, Гумилев, Шолохов... Вот и наш современник Захар Прилепин, уехавший сейчас воевать в Донбас, сказал недавно в одном интервью:

- За моей спиной весь спецназ русской литературы...

Это правда. Настоящий русский писатель всегда был, есть и останется воином. Воином Духа, Света, Христа. И часто - мучеником веры.

Как Пушкин, Грибоедов, Рубцов. Хочется сказать несколько добрых слов в память о прозаике, прошедшем Великую Отечественную войну сквозь сражения в Белгороде, Харькове, Полтаве, Кременчуге, получившего тяжелое ранение и полгода госпиталей, а потом ставшего актером, спецкором газет и, наконец, писателем. Имы не столь известно, но это нисколько не умаляет его творчество. Это Геннадий Петрович Кочетков.

Через шесть лет мог бы отметить столетний юбилей, если бы не смерть. Он написал не так уж много книг, а последняя из них - «И вечный бой..» (издательство «Слово»)- вышла совсем недавно. К сожалению, так и не успел увидеть ее воочию. Что характерно, название, по-моему, очень точное. Но об этом - чуть попозже.

В первой части «Вечного боя» представлено несколько рассказав, уже публиковавшихся ранее. Это «Этюды раненной памяти». Да, память его была изломана тяделещшей войной, трудным детством в Сибири, болезнями, но память эта все равно светла и жизнеутверждающе возвышена.

Нет горечи или обиды на судьбу. Есть вера в свое предназначение, в свою звезду. «Я ошеломлен, изломан, я истерзан и выжат как тряпка. У меня уже ни нервов, ни рук, ни ног, ни слуха. Одни только глаза - больше от меня ничего не осталось. Одно только глаза... Я лежу на спине и гляжу в ночное небо. На свою звезду. В небе столько звезд, но я свою отыскал сразу, узнал с первого взгляда. Сейчас зажмурюсь, потом снова открою глаза и опять ее увижу. Не спутаю».

Вторая часть – это своеобразный «театральный роман». Только роман не романтический или любовный, хотя и это тоже здесь есть, а воюющий, так и

называется – «Театральные баталии». Ну, не совсем война, а сражения, вновь «вечный бой», только уже на театральных подмостках и вокруг них. Доктор искусствоведения И. Вишневская отозвалась о нем так: «Писать об актерах – значит, и самому в чем-то быть артистом, уметь чувствовать само существо профессии, всесильной и беззащитной.

Всесильной, так как каждый вечер она может увести вас в иные миры и в иные душевные состояния, беззащитной, потому что вместе с концом спектакля развешивается легкая актерская слава, замолкают слова, уходят самые великие потрясения». Особенно хочется отметить мастерски закрученный сюжет этого произведения, четко прописанные главные и второстепенные линии, ясные и остроумные диалоги героев, панорамную картину провинциальной и столичной жизни. Всю театральную жизнь изнутри, весь социальный срез людей, причастных к этому величественному «храму искусства».

В итоговой книге Геннадия Кочеткова ярко выразились основные темы его творчества – военные испытания, театральные перипетии, ситуации психологического выбора перед поступком, жажда жизни, её философское осмысление. И всё это на реальной основе, с характерными приметами времени, в лучших традициях классической русской литературы. Эти темы присутствовали и в прошлых его произведениях – романе «Дорога через сердце», повестях «Антракта не будет», «Уходить и возвращаться», «Обрети себя», в ранних рассказах. А верность избранному в литературе пути говорит о многом. Идти до конца и не сдаваться.

Постскриптум. Только прочитав его скромную автобиографию в конце книги (полстранички) я неожиданно для себя узнал, что начинал свою журналистскую деятельность Геннадий Кочетков в нашей газете, которая в те времена называлась «Литература и жизнь». Наверное, эти слова и определяют его творческую судьбу. Литература была главным делом жизни писателя – воина. И вечный бой...

Вечный бой писателя-воина

Творческий подвиг Геннадия Кочеткова Через два года ему исполняется сто лет со дня рождения. Тут я задумался. Вот, как правильно писать об умершем человеке, прозаике: исполняется или исполнилось бы? Встречается и такая и другая форма, как ни странно. Тем более юбилей. Зависит от степени любви и бережно хранимой памяти. Ведь говорим же мы: двести двадцать лет Лермонтову, и даже пятьсот лет Сервантесу. Так долго не живут, все-таки не ветхозаветные времена Ноя и Мафусаила. И даже сто лет большая редкость. Но близкий тебе человек, родной и любимый, как для вдовы Геннадия Петровича Кочеткова Лейлы Петровны Печко, всегда будет живым в сердце, душе, уме. И это правильно несмотря на то, что жизнь, как неизлечимая, хотя и приятная болезнь, кончается для всех одинаково – смертью.

Это был скромный прозаик с тихим, как обычно говорится, голосом. И

родились мы с ним в один день – 31 декабря под Новый год. С разницей в тридцать лет. Но не только поэтому я пристально заинтересовался его творчеством. Хотя «новогодние люди» всегда вызывают мою приязнь.

Согласитесь, что их в истории, да и просто по жизни встретишь нечасто. Но моя приязнь усилилась вдвойне, когда я стал читать его книги. Их немного. Первые две вышли в 1976 году – «Дорога через сердце» и «Антракта не будет». Затем в течение двадцати лет вышли еще шесть. «Уходить и возвращаться», «Обрести себя», «Лесная музыка», «Продается на слом», «Этюды раненой памяти», «РВК».

Надо обязательно добавить, что он был участником Великой Отечественной войны, имеет боевые награды, что немаловажно для «тихого скромного человека», фронтового разведчика. Просто такой уж у него был характер. Не выпячивался, как это свойственно многим творческим людям, поэтам и прозаикам молодого поколения. Сам из Ачинска, окончил Новосибирскую театральную школу-студию «Красный факел», работал в журнале «Октябрь» и газете «Советская культура».

Мне кажется, названия книг Геннадия Кочеткова верно отражают его главные мысли, идеи. Например, обрести себя – обрести ощущение уверенности, своей необходимости. И эта же мысль особенно характерна и важна для героев его повести «Продается на слом». Кочетков имеет в виду не себя лично, он обращается к своим современникам. Это важно. В 70-е годы многие деревенели от застоя и превращались во всё недовольных кухонных диссидентов.

А вот читатель-современник Кочеткова привлекал внимание автора, и он так или иначе подсказывал ему пути для поиска творческого начала, как залога духовного обновления.

Кочетков был воином. Отстаивал правду и справедливость сначала на войне, а в мирное время – словом. В последнее время я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что вся русская литература – и прошлая и нынешняя – это, по сути, литература воюющая, литература сражений и героических подвигов. Настоящий русский писатель всегда был, есть и остается воином. Воином Духа, Света, Христа. И часто – мучеником веры.

Как Пушкин, Грибоедов, тот же Лермонтов, Рубцов. Кочетков сражался с нацистами в Белгороде, Харькове, Полтаве, Кременчуге. А как бы сейчас он воспринял возрождение нацизма на Украине, где он получил тяжелое ранение и полгода госпиталей? Не удивлюсь, если бы еще и воевать за Донбасс ни отправился, несмотря на преклонный возраст. Характерно, что последняя книга, которую он уже не успел увидеть, так и называлась: «И вечный бой...». И опять же очень точное название. Книга вышла, и мы можем её прочесть.

Мария Шершакова
Опубликован: 17.04.2022

Военная и мирная проза Г.П. Кочеткова

Проза Геннадия Петровича Кочеткова – это зеркало тонко чувствующей души, подмечающей с удивительной точностью привычное в человеке и человечность в привычном. Столь пристальное внимание к движениям души окружающих порой даже удивительно – ведь Геннадий Петрович прожил насыщенную и непростую жизнь, видел войну и оборотную сторону творческой среды. Казалось бы, этого могло быть достаточно, чтобы внимание притупилось, люди перестали интересовать, взгляд автора обратился внутрь себя, а душа огрубела. Однако этот автор являет пример писателя, пронесшего через всю жизнь свежесть восприятия и открытого к впечатлениям, сохранившего желание всматриваться в глаза каждого, кто встретился ему на пути.

Произведения Геннадия Кочеткова разноплановы по форме и приемам повествования: от близких к «потоку сознания» в стиле Дж. Джойса воспоминаний главного героя, обращённых к любимой женщине (повесть «Театральные баталии»), до острых описаний действительности в зарисовках военного времени.

Большой интерес представляет настроение в рассказах Г.П. Кочеткова, посвященных разным эпохам. Сюжеты, взятые из обыденной современности, из поствоенного времени, часто меланхоличны. Их герои, сталкиваясь в вагонах электричек, на улице или на природе, у вскрывающейся весной реки, хотя и живут в мирное время, не всегда способны выдержать внутренние бури и так похожие на весеннюю реку половодья эмоций. Диалог выстраивается сложно, за внешней вежливостью и деликатностью проступают столкновения и несогласие, обусловленные колоссальной разницей в жизненном опыте. В произведениях же, посвященных военным воспоминаниям автора, напротив, чувствуется пробивающаяся отовсюду жизнь, упрямая воля к победе и правде. Герои рассказов пользуются возможностью говорить и действовать предельно искренне, ведь каждое слово и поступок могут стать последними, а значит, нет необходимости размениваться по мелочам. Они открыто выражают свои убеждения, даже если речь идёт о голодном ребенке, которого боец угощает трофейным шоколадом («Гаврош»). Разгорающийся конфликт, когда ребенок бросает в пыль угощение, которое принес на эту землю захватчик, вызывает уважение к обеим сторонам: боец восхищается поступком мальчика, но ему больше нечем его угостить, ведь и самому ему приходится питаться одним этим шоколадом. А затем как по волшебству из этого уважения и благодарности вырастают и разрешение конфликта, и развязка истории, когда дети кормят бойцов собранным с миру по нитке обедом. Наиболее сильное впечатление производит даже не само это действие, а охватывающее всех персонажей, а с ними и читателей, чувство единения, радости, общности и веры в лучшее.

Произведения Г.П. Кочеткова располагают к внимательному чтению: образные описания природы, обилие сравнений и чем-то напоминающий сказы П. Бажова говор персонажей настраивают на свой собственный неспешный лад, свидетельствуют о потребности автора анализировать и пропускать через себя окружающую его действительность. Особенный интерес в этом плане и в целом, на мой взгляд, представляют «Этюды раненой памяти», посвященные Великой Отечественной войне.

Каждый из коротких рассказов, входящих в «Этюды...», является законченным произведением, хотя есть в них и открытые финалы («Капитан»), и концовки, приходящиеся на самый напряжённый момент повествования («Рыжий»). Какими бы ни были эти рассказы, вдумчивыми, как театральный монолог, или динамичными, как сводка с фронта, все они – пример непосредственной, живой речи, пример взгляда, обращённого вовне и фиксирующего все происходящее, чтобы как можно правдивее донести это потом до читателя – в традициях предельно реалистичной военной прозы Виктора Некрасова. А пожалуй, самый большой подарок, который может сделать писатель своему читателю: поделиться своими мыслями и опытом так, чтобы читатель смог прочувствовать события, в которых не принимал участия, и вынести собственный урок, запомнив важное и главное. Это важно во все времена, а в наше время – возможно, даже более обыкновенного. За это Г.П. Кочеткову огромная читательская благодарность.

Печко Лейла Петровна
доктор философских наук, профессор

Образы прозы Геннадия Кочеткова: путь мастера слова

Бойцы вспоминают Минувшие дни...

Взгляд бывшего разведчика, привыкшего уверенно ориентироваться на местности, вовсе не опровергается, а дополняется поэтичным видением тонких деталей, штрихов и даже ощущением «на вкус» воздуха, а порой блеском «мозаичных» элементов то одного, то другого кадра картины.

Может быть, самая главная тема для воевавшего в Отечественную войну прозаика Геннадия Кочеткова- трепетная, острая тема времени жизни и ее граней в ситуациях военных будней, каждодневных и порой тяжелейших переживаний людей. Это прежде всего рассказ о «батяне»- капитане 40-х годов минувшего века, ведь он много раз спасал жизнь своих солдат. А вот этот солдат несёт ему страшную весть -о гибели его жены, хирурга в госпитале под бомбами. Не успел солдат передать ей письмо капитана и, возвращаясь, мысленно представляет себе -что же дальше: «Я подойду к тебе, капитан. Верну письмо... нет, отдать письмо – это сразу сказать тебе, капитан, все. Жестоко... и я буду медлить так же, как тяну сейчас шаг. Я не передал письмо, не выполнил этот твой приказ. Но как я скажу тебе об этом?»

Здесь звучит, будто чеховская интонация, подавляемый стон, горечь непоправимого несчастья в остром сострадании ближнему.

В других рассказах этого же цикла – зарисовки будней войны. Неожиданное появление мальчишек, готовых отыскать хоть что-нибудь, чтобы как-то накормить солдата («Гаврош»). Или понятное каждому сочувствие неизбежной, жгучей человеческой потребности в воде, в утолении жажды, когда на краткое время опускаются все заряженные стволы. («Рыжий»). Этот цикл коротких «новелл», – так можно определить точнее этот прозаический жанр-назван «Этюды раненой памяти» (1995).

Рассказы Геннадия Кочеткова в других его сборниках напоминают нам о послевоенной повседневности, несут в картинах мирного времени неожиданные ситуации, житейские переживания и наблюдения. С родственным чувством писатель обращается к людским судьбам и характерам – будь то отставной капитан дальнего плавания (рассказ «Очередь в Новый год»),или артист, выращивающий цветы для продажи(«Певец»).Особенно деликатны интонации автора, когда он воссоздает диалоги женщин, сопереживая истории молодой девушки, которую подавляет своим жизненным опытом «мудрая» советчица, калечащая надежду на будущее счастье.(«Искорки» в сборнике «Такая жизнь» -Москва: СП, 2001). Кочетковские герои прозы жизни обрисованы выразительными

«портретными» штрихами, убедительными деталями окружающих реальных картин.

А если открыть повесть «Театральные баталии», посвящённую ещё одной стержневой теме Геннадия Кочеткова, мы услышим диалоги и монологи о театре. Он словно распахивает дверь в мир творчества, культурных, духовных поисков и тонких человеческих отношений. Звучат и романтические, и иронические, ноты в обращении к Образу «своего театра». В конце повести мы словно присутствуем при объяснении автора в любви к искусству и к зрителям, ведь истинное назначение театра – будить их чувства и мысли.

«…Театр мой очень стар, и в нем столько сыграно... И мне порой представляется, что по ночам, когда разойдутся зрители, актёры, погаснут юпитеры и софиты, и остается только дежурный свет... из-за кулис выходят персонажи всех сыгранных когда-либо пьес. Страстные любовники в чёрных испанских плащах, седоголовые «благородные отцы». Томно вздыхающие высокие красавицы, то и дело падающие в обморок, и злодеи в полумасках.

И, конечно же, наш громогласный современник, обличитель всех и вся», – кто нарушил законы жизни.

Но это мы понимаем, конечно, как мираж или сон главного действующего лица – талантливого артиста Дементьева, который за всей этой завесой романтики стремится раскрыть истинную реальность человеческих ценностей и отношений.

Годы, проведённые Геннадием Кочетковым в качестве артиста на сценах провинциальных театров России, сформировали его вкус к классическому литературному языку, к ярким диалогам, а также и стремление к раскрытию сюжетной «игры» и в известных пьесах, и в своей собственной прозе. Действующие лица повестей и рассказов Кочеткова по-театральному очень чувствительны к интонациям своих и чужих «реплик». Это делает его тексты не только видимыми в картинных деталях, но и действительно звучащими, ведь в них много диалогов. Человеческие голоса зовут услышать разные мнения и оценки.

Да ещё и «внутренний голос» в монологах главного героя (как бы своеобразного «режиссёра» всего повествования) превращает страницы повести в воссоздаваемые сцены разыгрывающегося перед нами спектакля- об историях жизни провинциального театра. Ещё раньше к этой теме автор обращался в опубликованной повести «Антракта не будет», написанной столь же живо и заинтересованно.

Произведения этого прозаика – как бывает в искусстве-несут в претворенной им словесной плоти мозаичные осколки эпизодов и событий личной судьбы. А она была вот такая:

Молодой солдат, едва за несколько недель пройдя курс военного училища, воевал на передовой линии много месяцев. И после тяжелого ранения, полугода восстановления в госпиталях, вернулся «на гражданскую». Награды – боевые медалями, позднее – орден Отечественной войны 2 степени.

В поисках доступной ему работы пришёл в цирк и разработал «свой номер» - сверхточной стрельбы по контуру тела живой мишени. Успех был полный.

Но больше звала его настоящая сцена. Не цирка, а театра, с его особой игрой человеческих чувств и образов – жизненных или романтических. Тогда и довелось покочевать по стране, пошагать по сценам провинциальных театров, чаще всего - играть в классических спектаклях юморных чудаков.

И все же хотелось ещё описать накопившиеся жизненные наблюдения самому, потому в Павлодаре из театра он перешёл в городскую газету. Потом Москва, Союз журналистов, газеты «Социалистическая индустрия» (по журналистскому наречению – «Социндуска»), «Литература и жизнь», журнал «Октябрь», газета «Совкультура». Рассказы, первые книги, приём в Московскую организацию Союза писателей.

Образы воспоминаний разведчика не уходят, не отпускают, перемежаясь с прозой жизни и образами театрального творчества. В самом его словесном тексте всегда ощущается сибирская верность истине жизни, характеров и ситуаций – «без слащавого сиропчика, убаюкивающего сознание, и без травмирующих его детективов». Это позиция художника слова и бойца, прошедшего испытания Великой войны.

Вовлекают и погружают нас в мелодии и ощущения воздушных токов кочетковские описания картин родной Сибирский природы, столь дорогой внутреннему зрению автора. Она зовет к себе: «Среди опавшего ноздреватого снега, прошитого желтой стежкой прошлогоднего сухостоя, яркой ли зеленью молодой травы, лишь плотно умятая тропа еще и сохраняла зимнюю крепость и белизну покрова. Она то шла прямиком через проталины, то петляла меж ледяной игольчатой осыпи тальникового мелколесья, укутанного туманцем...» Обращённые к нашему зрению и осязанию пластичные и динамичные, как бы движущиеся ракурсы картин природы проступают в разных книгах Кочеткова.

Конкретность, точность, полномерность изображенных картин выдаёт в авторе некогда – в юности начинавшего художника, выхватывавшего нужные детали, которые определяют неповторимую характерность именно этого места действия – действительного или ярко воображенного.

Это отмечают и в своих статьях-размышлениях о книгах прозаика Геннадия Кочеткова -«Лесная музыка» (1983), «Обрети себя» (1985), «И вечный бой…» (2014) известные литературные критики И. Вишневская, А. Скалон и А. Трапезников. В них видится ретроспектива живого моста между двумя близкими веками, минувшим и нынешним, как «житейская дорога, осмысленная искусством».

Комментарии из интернета

КОММЕНТАРИЙ #29450 30.10.2021 в 22:11

Возможно, столетия спустя для тех, кто будет пытаться понять что-то про наше время, самым интересным будет как раз вот эта ткань повседневной жизни, как мирной, так и военной, которую в тишине ткут такие честные и доброкачественные писатели, как Г.П. Кочетков.

КОММЕНТАРИЙ #29438 29.10.2021 в 01:33

Мне как человеку, которому тоже всегда отрадно встречать людей, родившихся со мной в одно время, очень понравилось, как искренне и трепетно написал об этом замечательном прозаике Александр Трапезников! Спасибо Вам, Александр, за вдумчивость, внимание и понимание души автора. Спасибо, что доносите это до читателя!

КОММЕНТАРИЙ #29436 28.10.2021 в 20:46

Мне не довелось знать Геннадия Петровича лично, но, читая его рассказы, я будто слышу его голос, его особенные интонации. У прозы Г.П. Кочеткова свой собственный размеренный ритм, который настраивает на внимание к окружающим деталям: пейзажа, слова, движений души находящегося рядом человека. Чтение становится похоже на беседу с мудрым другом, много испытавшим и сохранившим во всех жизненных перипетиях ясный взгляд на вещи и людей и доброе сердце!

КОММЕНТАРИЙ #29412 26.10.2021 в 09:18

Мне безумно посчастливилось познакомиться в 2019 году на международной конференции, посвящённой А.И. Бурову, с Печко Лейлой Петровной.

Лейла Петровна - не просто мастер своего дела, она - Человек с большой буквы, знающий толк в своём деле. По мимо этого, Лейла Петровна – человек, готовый всегда прийти на помощь, дать совет, помочь в трудную минуту. Буквально вчера Лейла Петровна поделилась со мной одной очень близкой сердцу историей - историей про своего мужа Геннадия Кочеткова.

Краткий рассказ тронул меня. Мне стало безумно приятно и интересно узнать о жизни этого человека.